ФИКРЕТ ГОДЖА

ЗЕМНОЕ ПРИТЯЖЕНИЕ

ФИКРЕТ ГОДЖА

ЗЕМНОЕ ПРИТЯЖЕНИЕ




СТИХИ

ПОКЛОНЯЮСЬ ОГНЮ

С огнем играю иногда,
Зато и нет такого льда,
Чтоб не растаял без следа
В груди моей.
Наверно, это —
Огнепоклонников примета.

Здесь, где копытом грохнет конь,
Встает из-под земли огонь.
В глухой ночи — костра ладонь,
Протянутая для привета, —
Огнепоклонников примета.

Оградой гор обнесены,
Алеют маки в дни весны,
Земли объятия тесны
Для полыхающего цвета —
Огнепоклонников примета.

Весь арсенал девичьих чар:
Пурпурных губ ответный жар,
В лице — стыдливости пожар,
В глазах блеснувшая комета —
Огнепоклонников примета.

Не канувшая в облака
Улыбка солнца сквозь века,
Границей ставшая река,
Что в сердце знойных гор продета, —
Огнепоклонников примета.

КАНАТОХОДЦЫ

С утра шумит большой базар —
Галдит, ругается, смеется...
А над базаром высоко —
На проволоке —
Канатоходцы.
Они являются сюда,
Где толчея и суета,
Не торговать, не красть,
А с жизнью поиграть!
Их путь пружинист и высок, —
Попробуйте, измерьте!
Блестящий тонкий волосок
Их бережет от смерти.
Ни влево и ни вправо —
Опасная забава!
Внизу — базар,
Любой товар:
Есть пахлава
И похвала,
Есть ви́на
И невинность,
Есть в бочках ложь медвяная
И ложка деревянная,
И соль здесь есть,
И совесть,
И, что ни спросишь, — все есть!
Продал,
        купил —
                вошел в азарт!
С утра кипит большой базар!

Здесь каждому неймется...
А над базаром —
словно бы
По краешку колодца —
Идут канатоходцы.
Им разве жизнь не дорога? —
Чуть только соскользнет нога...
Никто и не помянет:
Базар — он делом занят.
Упал один —
Встает другой.
Канат пружинит под ногой...
Канат блестит на солнце...
Идут канатоходцы!

ДОЛГО ЛИ СЧАСТЛИВЫМ СТАТЬ...

Другу загляни в глаза,
Если взгляд студеный встретишь,
Морю сердце распахни,
Если в ком-нибудь заметишь
Душу, лужице под стать.
Вспомни, если одинок,
Сколько девушек на свете, —
Долго ли счастливым стать!

Наглеца иль подлеца
Повстречаешь на дороге,
Вспомни честных и простых,
Тех, кого ты знаешь, — многих,
Нам друзей не занимать!
И улыбку не таи,

Если даже правил строгих, —
Долго ли счастливым стать!

Неудачу ты умей
Смелой шуткой огорошить.
И последним можно быть,
Но — среди людей хороших.
После уж не наверстать —
Если смолоду, мой друг,
Человеком стать ты сможешь, —
Долго ли счастливым стать!

ОСТРОВ РЕВОЛЮЦИИ

Золотая песчинка
Покинула темные воды.
В океане бесправья тонула,
И вот —
На ладони Свободы.

Этой участи светлой
Достойны самые лучшие —
Быть песчинкою в лаве,
Что исторгнул
Вулкан Революции.
Куба!
Остров великий!
Не аршином величие мерится.
Ты похож на Аврору,
Причалившую
К Америке.

ДОЖДЬ НА КУБЕ

Лупит ливень,
Ливню тесно,
Ливень встал стеной отвесной,
И не думай о прогулке —
Дождь на Кубе,
Ливень гулкий!

Мельтешат и блещут спицы —
Даже ветру не пробиться,
Схоронился в закоулке —
Дождь на Кубе,
Ливень гулкий!

Словно скользкие миноги,
Расползаются дороги —
Магистрали, переулки —
Дождь на Кубе,
Ливень гулкий!

Хорошо, что мы — под крышей!
Наконец-то я услышу,
Что твои мне шепчут губы...
Ливень гулкий,
Дождь на Кубе!

БАРДА

Здесь История гнездится —
Ископаемая птица,
Прирученная людьми
Много раньше песнопений

Хагани и Низами.
Здесь исполнено значенья
Слово твердое: всегда.
Здравствуй, древняя Барда!
Сколько звезд над головою!
Кажется, что больше вдвое.
Я не в силах скрыть волненье —
Может, это — отраженье
Тех далеких огоньков,
Что погасли в тьме веков,
Нам казалось, — без следа?
Здравствуй, древняя Барда!
Дней несметная орда
Штурмовала эти стены,
И Тер-Тер, весь в хлопьях пены,
Рвался с высоты сюда.
Рухнул мост из эры в эру —
Стало совестно Тер-Теру,
Пеплом жар свой остудив,
Он места покинул эти,
Но над пропастью столетий
Виден вновь пролет моста!
Здравствуй, новая Барда!
Ты историей крылатой
И землей своей богатой,
Что в руках людей труда,
По достоинству горда.
На равнинах бирюзовых
Рукотворных гор хлопковых
Встала белая гряда.
Здравствуй, новая Барда!

МЕЖДУ ПРОЧИМ...

Говорят,
          что с годами
Слабеет умом человек.
Но к чему обобщенья?
Скажу между нами:
Тем мудрее мудрец,
Чем длинней его праведный век,
А глупец — это да:
Потихоньку глупеет с годами...

ВЕРЯ—НЕ ВЕРЯ...

И. Меликзаде

Я жил,
      обманываясь,
                    веря в миражи.
Выходит,
         иногда
                нуждался я во лжи.
Бывает сладкой ложь,
Как аромат нарцисса,
Как запах тленья,
Как улыбка,
Что дарит нам актриса.
Немало их — красавиц...
Только ты
Не очень верь
              виденьям красоты.
Одна ль улыбка женщины повинна

В том, что теряет голову мужчина?
Соблазны многие
Судьба сулит в придачу:
Лжеуваженье лжедрузей
и лжеудачу...
Забудь о миражах
и не жалей!
Жить, правда, станет
много тяжелей...

ТЕБЕ ВЫБИРАТЬ...

Человек вершиной станет —
Если он живет как надо,
Человек песчинкой станет,
Если унижаться будет.

А в диапазоне этом —
Бесконечном —
Люди, люди...

И возвыситься нетрудно,
И унизиться нетрудно, —
Это тоже неподсудно...

ЖУРАВЛИ

Над маревом города, в сизой дали
Осеннею ночью летят журавли,
И крик будоражит усталый
Ночные дома и кварталы.

Над садом плывет треугольник косой,
Деревья, покрытые тяжкой росой,
Шумят за оградой листвою:
Приснилось им детство лесное.

И крик долетает в привычный уют,
И сонные люди с постели встают,
И смотрят на звезды из комнат,
Пытаются что-то припомнить...

О, зов поднебесья! То трубы, то альт —
И больно земле, что ушла под асфальт,
И тесно в темнице глубинной
В час полночи, в час журавлиный.

И вдруг с непривычной, нездешней тоской
На крик отвечает трамвай городской
И к парку ползет, удивленный,
На свет семафора зеленый.

У тигра в глазах уссурийская ночь,
И слышит он зов, и кидается прочь, —
И вдруг упирается грудью
В решетки безжалостной прутья.

Меня он настиг —
Налетел, закружил,
И я недоконченный лист отложил
И выглянул.
Скоро светает...

И где-то над городом, в сизой дали,
Осеннею ночью летят журавли,
Высóко летят.
Улетают.

РАЗДУМЬЯ В МУЗЕЕ

Музей,
Ты скопление мертвых примет
Той жизни великой,
Что здесь протекла...
Бумаги, одежда
За гладью стекла.
И призрачно-светел
Пустой кабинет.

Музей,
Я печаль твою знаю давно:
Двустволка, перо золотое и саз —
Для множества жизней
Хватило б и вас —
Но что о поэте
Сказать вам дано?

Но что о Самеде
Расскажете вы?
Был частью стихий
Его жизни полет —
В нем летняя щедрость,
И осень, и лед,
И свежая прозелень
Первой травы.

Ни дня он прожить
Без свободы не мог.
Ни дня его песнь
Не могла без земли.
Он шел по дорогам
В росе и в пыли, —
Какая охота?
Охота — предлог...

Он черпал слова
Из народных речей,
И звезды Отчизны
Вели его в путь...
Был Лондон.
Туманы мешали заснуть.
Все чудилось —
Слышит в Казахе ручей.

Он был человеком!
Навек и на миг,
И в радостный час,
И в годину невзгод.
Быть может, труднейшей
Из всяких свобод —
Высокой свободы души
Он достиг.

Так буря начало
Из ветров берет,
И катится к скалам —
По берегу гром...
Что толку
Хранить под бесстрастным
стеклом

Соленые брызги
Просторных широт?

Волну,
Что отхлынула в море, нельзя
Вернуть... Ты над городом
В бронзе стоишь.
Но кажется мне
Сквозь вечернюю тишь:
Тоска одиночества
Застит глаза.

Что бронза?
Души вдохновенный полет
Дороже
Торжественно-траурных лент.
Для многих спокойнее
Чтить монумент —
С живыми поэтами
Много забот...

А жил он непросто.
Осмеян бывал.
Ну что ж? Посмеяться над ближним —
не грех.

Он много успел —
За себя и за тех,
Кто зависть
Кривою ухмылкой скрывал.
Когда он,
Волною созвучий влеком,
Скитался —

Один средь родных и друзей, —
Был город живой —
Его первый музей.
Да только никто
И ие думал о том.
Не то, чтобы козни,
Скорее расчет:
— Да кто ои? Откуда
— Казахский... Самед...
Спешат призиавать,
Когда призиан поэт,
Но этого нужио
Дождаться еще.
А в сердце
Вагифа возвышенный слог,
Легеиды, герои —
Истории ширь...
И шел он —
В поэзии хаи и визирь,
И пахарь простой,
И судья, и пророк.

И был его мир
Ни на что ие похож.
В душе затаенный,
Сокрытый от глаз,
Доселе иеведомый
Многим из нас.
Что ж, годы умчались,
И их не вернешь.

Но вижу я:
Серый рассветный вокзал.

И небо суровое
В стеклах дрожит.
Глядел он в просторы
Проспектов чужих.
Что думал,
Какие слова он сказал?
Я вижу:
Где памятник нынче взметен,
Мальчишка упрямый
Стоит поутру.
Седые деревья
Шумят на ветру.
Быть может,
Они догадались — кто он?

Помедли,
безжалостный времени ход!
Сегодняшней славы бы —
Годы назад.
Скажите,
Куда предложить экспонат —
Восторг напечатанных
Первых стихов?

А горечь непонятости,
А злость,
А тяжкое бремя
Житейских потерь?
Уж слишком привыкли
Считать мы теперь,
Что был его путь
Лучезарен и прост.

Но в том-то и был он,
Великий, велик —
Слова доставались
Ценой дорогой.
Сто раз погибал он
Над каждой строкой,
Сто раз воскресал он
Над каждой строкой.
Оплачена кровью
Любая из них.

Тебе ли, скупец,
Эту цену понять,
Тебе ль ощутить
Эту радость и боль?
Уж ты преуспеешь
Ценою любой,
Ты душу готов
На покой променять.

Сотри-ка кривую усмешку с лица!
Спокоен и ясен
На фото Самед.
Он был Человек.
Человек и Поэт.
Он был человечен — во всем,
До конца.
Я молча пред стендом
Музейным стою,
И отблеск заката
Касается плеч...

Великий!
Прости мою дерзкую речь.
Душой постигаю
Науку твою.

СЫНОВЬЯ СТАНОВЯТСЯ ОТЦАМИ

Я сына поучал,
А сын смеялся звонко,
Смех этот означал
Настойчивость потомка,
Смех этот означал
Подрыв авторитета,
Смех этот означал:
«До лампочки мне это!..»

Что нужно пацану?
Весь мир — арена счастья.
Он был отчасти прав,
Но только ли — отчасти?
И я, конечно, прав...
Но тут жена вмешалась,
Оправдывая шалость.
О женщина, о жалость!
И это все в глазах
Ребячьих отражалось.

Я вспомнил своего
Отца в минуты эти.
Да, изменился век,
Но дети, это — дети.

И проучить нельзя,
Противится натура:
Ребята — кровь моя,
Моя архитектура.
А если что не так, —
Расхлебывай окрошку,
Что в плошку положил,
То и зацепишь в ложку.

Свой, видно, срок всему...
Когда друзья сходились,
Отец им каждый раз
Свой начинал рассказ
О дальней стороне,
О павших на войне,
И всякий раз его
Глаза тоской светились.
А мы себе в саду
Играли в чехарду,
Боролись, кувыркались.
Короче — развлекались.

Нет, у седых мужчин,
Немолодых мужчин
Совсем не без причин
Туманились глаза,
Как будто в них — гроза.
Они видали кровь,
Они видали смерть,
Они сумеют вновь
В лицо беде смотреть.
И каждый знал, что нам

Не интересен тот
Печальный разговор,
Что мы — иной народ,

При взрослых — помолчим,
А отойдем — кричим.
И тут же, сорванцы,
Заводим суматоху...
Шептали мы со вздохом:
Странные отцы!..

Сойдутся, сядут в ряд,
О чем-то говорят,
И так иной вздохнет,
Как будто — сердцу душно.
Мы удивлялись дружно:
Странные отцы,
Но им мешать не нужно.
Пускай себе сидят
И час, и два подряд.

Был молчаливый сход
Нам поводом для смеха.
Мы жили без забот,
Чудесно было это!
Как хохотали мы,
Ну просто до упаду!
Но почему наш смех
В них вызывал досаду?
Странные отцы!

Мы многого тогда
Еще не понимали.

Поймут ли дети нас
Когда-нибудь? Едва ли!
Мы думали, птенцы:
Странные отцы!

Один — на костылях,
Другой — с рукой протезной,
Пускай — не на полях —
При деле, при рублях,
Им без работы — тесно.

А кто с руками был,
Те рис-чалтык* сушили,
А кто с руками был,
Те ночью на токах
Пшеницу сторожили...
О чем они тужили?
Странные отцы!..

Случалось, нам они
Подарки покупали,
Тому — велосипед,
Блестящие педали!
А этому сандалии.
Счастливцы в остальных
Зависть вызывали.

Те, у кого отцы
Не возвратились с фронта,
Порой лупили нас,

* *Чалтык* — рис, не очищенный от шелухи.

А мы их всенародно
Прощали благородно.
Отцы-фронтовики,
Мы не забыли это:

Ни дружеский меджлис
В тени у сельсовета,
Ни слов, какими вы
Убитых вспоминали
Товарищей своих:
«Не наша, мол, вина ли,
Что нет на свете их?»

И так уж получалось,
Что те, в сырой земле,
Смелее и отчаянней —
Оставшихся в селе.
Так требовала память
Собратьев боевых.
Мы были сыновьями
И мертвых,
И живых.

Нам имена героев,
Убитых на войне,
Светили, словно звезды
В туманной вышине.
Мы жадными глазами
Смотрели на мальцов,
Которые остались
На свете без отцов!
А взрослые старались

Прнободрить сирот,
Им пышки доставались,
А нам — наоборот.
Не подавая виду,
Зеленые юнцы,
Танлн мы обнду:
Странные отцы!
Мы многого тогда
Еще не поннмали,
Поймут ли дети нас
Когда нибудь?
Едва ли!

СИБИРЬ И ЛЮДИ

В Сибири
На отсутствне воды
Еще ннкто не жаловался, виднмо:
Земля
Опарой всходнт
под дождем,
Снега лежат,
Как тесто, взбиты.
Болота с неуемным аппетитом! —
Того глядн, в трясину забредем
И пропадем.
Олень и тот, пожалуй, не пройдет
И тоже пропадет.
Не стоит продолжать,
Так — миллионы лет.
Земное чрево ненасытно, нет!

Вода — водой,
А вот деревья гибнут,
Затоплены водой,
гниют деревья...
Но упрекать Сибирь грешно:
Земле самозащитой древней
Леса и топи служат...
Но...
Как дикую свободу ни храни, —
Земле на плечи
брошены арканы —
Бетонные дороги.
Им сродни —
Машины наши, великаны.
Мы по Сибири мчим —
куда хотим.
Стремительные дети века.
Мы землю эту любим,
словно мать,
Но где земле, скажите, взять
Упорство и терпенье человека?

ЛЕГЕНДА

Жил когда-то в селенье старик.
Тесен домик и двор невелик,
Тростниковая крыша, забор,
Да слепое оконце во двор.
Много зим протекло, много лет,
Из родни никого уже нет,
Всех друзей проводил на тот свет.

Только голубь встречает рассвет
Голубиною песенкой
Над скрипучею лесенкой...

Но однажды в тишине раздался крик:
Дым над крышею клубился,
Там, где жил старик,
В знойный день воспламенился
От жары тростник.
И огонь распространился,
И пожар возник.
Белый голубь нес во клюве
Капельку воды,
Он помочь пытался людям
В час большой беды.
Голубь жертвенно метался
С огненным крылом...
Но пока сбегались люди —
Повалился дом.
Нет ни голубя, ни дома,
Только — черная солома...

...Разметалась по ветру зола,
А легенда живет, как жила.
Много лет с той поры протекло,
Голубиным зовется село.
И в селе — уж такая молва —
Голубиная верность жива.

ДЕРЕВЬЯ

Редеет лес по берегам Куры,
Деревья сохнут,
Падают стволы,
Как будто бы в округе нет воды.
Откуда ждать спасенья от беды?

Но нет, не от грозы,
Не от пилы,
Не от безводья падают стволы.

В лесу побеги юные встают,
И шепчутся над мертвыми стволами,
И жизнь во всем значенье познают,
С ее знакомясь острыми углами.

Стволы, стволы, стволы по берегам —
Деревья пали у речной излуки,
Безжизненные ветви — словно руки.
А каждое при жизни — великан.
Повержены могучие стволы,
Как будто здесь рубился Кёр-оглы.

Нет, ежевичный куст не упадет:
Он мал,
Он неприметен,
Он живет.
А эти достигали до небес,
Упали и лежат...
Редеет лес.

ГРУЗИНСКАЯ ЗДРАВИЦА

Над столом
Рог с вином
Возникает сперва,
А над рогом,
Потом —
Тамады голова.
И, ответственность всю понимая,
Тамада,
Не спеша, произносит слова:
«...Валико — знаменитый чабан!
Шалико — знаменитый шофер!
Генацвале, какой разговор!
Мы же рог поднимаем —
не жбан!»

Пьем, естественно, за Валико,
Пьем, естественно, за Шалико.
Тост за тостом...
Конец — далеко.
Пьем за всех!
Это, брат, нелегко!
Положенье гостей таково,
Что обидеть нельзя никого!
Я поднял бы за каждого рог
И за каждого выпил до дна,
При условии, если бы мог
Выпить столько вина!..

В СИБИРИ ОСТАЛИСЬ

Я по Сибири кочевал,
Простором сердце врачевал.
Весна. Сибирь была в цветенье,
Мой жадный взор торжествовал
Среди ветвей, лучей и тени.

Я слушал песни... Бог ты мой!
Цветы под музыку шептались.
Я песни те увез домой,
В Сибири те цветы остались.

По Енисею плыл, друзья,
В стране таежной и суровой,
Медведей не заметил я,
Медведи шли своей дорогой.

Как тень орлиного крыла,
На сердце тихо грусть легла,
(И берега угрюмей стали)
Она к родным горам звала,
В Сибири берега остались.

Смотрел я в девичьи глаза,
В них синее пылало небо,
В них сразу — солнце и гроза,
В них поселились быль и небыль.

Глаза лучились! Из огня
Бросало в полымя меня!
Глаза, как песня — жди беды!
И по сей день в душе следы.

Оии любой растопят лед.
В них сои и явь переплетались...
Но я успел иа самолет.
В Сибири те глаза остались.

ПРОКЛЯТЬЕ ЮНОГО ХЕВСУРА СВОЕЙ НЕВЕСТЕ

Ответь же мие, хевсурка, наконец,
Чем недоволеи твой отец,
Что против моего имеет рода?
Я к черту ваши разиесу ворота!
Двеиадцать раз
Я посылал сватов,
Моих друзей,
Моих орлов!

Безжалостиейшая из всех
Земных иевест, красавиц горииых,
Притворнейшая из притвориых!
Пусть твой очаг остынет под золой,
Пускай, укрыв полиочной мглой,
Тебя из дома украдут,
Огласке имя предадут
Мои друзья,
Мои орлы!

Меия сжигаешь иа огие,
Но ты еще заплатишь мие,
Так передай своей родне:
Настает искуплеиья день,
Падет на ваши лица тень,

Тень откровенного стыда,
Чем вы откупитесь тогда?
Не хватит в погребе вина,
Мы выпьем все вино до дна,
Поскольку веселы и злы
Мои друзья,
Мои орлы!

МОЙ ДРУГ ГРУЗИН

Тебе он так простит обиду,
Что не обидишь наперед,
Смолчит, не подавая виду,
Но будет холоден,
Как лед,
Иль дело в шутку обернет.

Когда же гости в день печальный
К нему нагрянут невзначай,
Он будет пить,
Слезы случайной
Не утаит, наоборот,
Слова правдивые найдет,
Когда на сердце стынет лед.

Он головы в нужде не клонит
И славословьем не грешит,
И если будет сам голодный,
Куском последним поделиться
С улыбкой доброю спешит.

Он весел,
Если гости в доме,
Несет вам лучшего вина, —
На свете жизнь всего одна.
Но если трудный час настанет,
То знай —
В беде не подведет,
Шутить с опасностью не станет,
Но за товарища умрет!

ХЛЕБ-СОЛЬ

Хлеб-соль...
И встаньте,
как встаете,
Когда звучит державно гимн.
Хлеб-соль...
Она всегда в почете,
И сердце чем-то дорогим
Другому сердцу отвечает.

Пусть где-то в море корабли
Ее гудками отмечают
От берегов своих вдали,
И поезда им отвечают
Совсем в другом конце земли.

Пусть на мгновенье смолкнут речи,
Когда хлеб-соль — на рушнике
И звезды тихие, как свечи,
В озерном светят ивняке.

Пускай клинки стальные в ножны
Устало бросит человек.
Ну разве это невозможно?
И так ли уж он грозен, век?
Лжецы, умолкните,
Не лгите,
Единственный хотя бы раз,
И на минуту отведите
Слова, нацеленные в нас.

Пускай рассеются сомненья,
Трусливый станет храбрецом,
Верней, почувствует уменье
Взглянуть опасности в лицо.

Вражда, не веря хлебу-соли,
К ней прибегает иногда,
А вот содружество мозолей
Вражде — великая беда.

И мы,
    страны своей посланцы,
Перед мечом не гнем голов,
Вооруженным иностранцам
На блюде не подносим плов.
И только дружеской хлеб-соли
Мы кланяемся всякий раз,
По доброй кланяемся воле,
Как старики учили нас.

СЧАСТЬЕ ПОСЕЛИЛОСЬ НА ЗЕМЛЕ

Что — счастье земное? Песчинка в песке?
То в ладони блеснет ненароком,
То румянцем на девичьей вспыхнет щеке,
То ключом прозвенит над порогом.
Или школьную ленточку в косы вплетет
И глаза озарит ясным светом.
Как сияют глаза!
Иль дождем упадет
На пески, опаленные летом.
Счастье — в первых цветах
И в листве тополей,
Счастье — тихие тропы по росам.
И девчонки охапками счастье с полей
По сверкающим травам проносят.
Что ему расстояния и времена!
Что ему адреса!
Что ему имена!
Вон младенцем оно улыбается вам,
В новом доме, распахнутом свету,
На стремительных санках летит по снегам...
Для него невозможного нету!
Наше счастье прописано здесь, на земле,
В двух шагах от беды. По соседству.
К вам оно не пришло?
Затерялось во мгле
По дороге, наверно, из детства.
Может, где-нибудь бродит от нас невдали,
Или, попросту, руки пока не дошли,
Сразу всех оделить не успело?
Или, может, само не хотело.

Лично я не спешу,
Лично я погляжу,
У него без меня много дела.

ТЫ — ОДНА

Глаза твои — море,
Прибой голубой,
Глаза твои — по́лночи
Свет золотой.
Но что мне до цвета,
Пусть будет любой,
Только всегда
Оставайся собой,
Горечь моя
И услада!
Все вы красивы
И мы — что и надо.

Пусть — черные косы,
Пусть волосы — лен,
Только бы сердце
Стучало: влюблен!
Только б звучала
Мелодия лада.
Встретил тебя —
Это ли не награда!
Все вы красивы
И мы — что и надо.

На свете одна ты
Такая. И — я.
Сплетайтесь тропинки —
Твоя и моя.
Ах, дорожки-тропинки
В глубь темного сада...
Долгое чудо
С первого взгляда...
Все вы красивы
И мы — что и надо.

МОЙ ВЕК

Как синий занавес
на стекла
Наплывает темнота,
Свет из окна
Ложится на карниз,
Пульсирует, как жизни отраженье.
Секунды плавятся,
по капельке
Стекая вниз:
Торопись!
Торопись! —
Не умирает ни на миг движенье.

Мы открываем солнечные трассы,
И в небе,
Как невиданные рыбы,
Орбитой счастья
Спутники плывут.

И ветры в зелени живут,
Легко слетая
К волосам влюбленных.
Откуда людям знать,
Что эти ветры
Наполнены дыханьем вечной жизни
И вечной смерти.
На их невидимых волнах
Покачиваются роковые вести,
Незримый груз отравы,
лести,
Добра
и мести.
Еще доносит ветер шорох хвороста,
Который где-то далеко, в Йемене,
Бедняк взвалил на хромого,
на хворого
Осла.
И гонит в гору
По суглинистым ступеням.
Двадцатый век. И каждый занят делом.
Будь старым он,
Будь черным он, иль белым.
А кто-то тщится землю раскроить,
Как вызревший арбуз.
А что докажет?!
Безумцы раздувают пламя войн,
Стремясь огромной пепельницей сделать
Весь шар земной.
В огне исчезнут замыслы и вещи,
Останется,
Как память о живых,

Сгоревший сгусток стонов человечьих,
Чтоб тишину галактик разрывать
Мильоны лет,
Немолчно,
эхом вечным.
Оттуда, из амфитеатра ночи,
Из-под ресниц-лучей,
Глядят на землю звезды:
Чем кончится спектакль
тревожных лет?
В живых остаться суждено?
И всем ли? —
Участникам и зрителям,
Имеющим билет,
Предложенный и совестью, и веком.
Чем кончится балет,
Затеянный огнем и человеком?
...Из дум своих я возвращаюсь.
Утро
Спускается на землю, совершив
Ночную календарную прогулку.
Всю ночь не гаснет чей-то свет в окне
И пульсом времени трепещет на стекле,
Упав на каменный карниз.
Секунды плавятся,
по капле
Срываясь вниз:
Торопись!
Торопись!
Часы стучат:
«Ты — че-ло-век!

К твоим ступням
прижался шар земной.
Ты — жиз-не-люб!
И в полдни, и в ночах
В ответе ты за все на свете,
Ты судьбы мира
Держишь на плечах!»

ЧАЙКА

Влюбилась чайка
В морские волны,
Влюбилась чайка
В пески и волны,
В литые волны,
Крутые волны,
Говорливые,
Торопливые.
Влюбилась чайка —
Птица счастливая.
Летит над морем,
Парит в тумане,
А море плещет,
А море манит.
Летит над морем,
Волны касаясь,
То вверх взмывая,
То вниз бросаясь.
Глаза — две капли
Голубоватых.
Кружится чайка
На перекатах,

Седых от ветра,
От зноя синих,
Но иссякают
У птицы силы.
Устала чайка
После скитаний
И опустилась
На берег скальный.
А волны движутся,
Волны плещут...
Но в небе слышится
Гул зловещий:
Стальная птица
Летит над морем,
Стальная птица
Приносит горе.
Стальные крылья —
В холодном блеске.
И стало море,
Как скалы, резким.
Из-под крыла
Сорвался камень,
Сверкнуло пламя
Под облаками.
И стон раздался!
Кричало небо,
Кричало море,
Кричали скалы,
Сомкнуты
Огненными тисками.
И море, дымную
Руку вскинув,

Ломало в муке
Зыбкую спину.
Стремились волны
К прибрежной кромке,
Вскипали волны,
Кричали громко.
Взметнулась чайка,
Раскинув крылья.
Она бы волны
Собой прикрыла,
Но вниз упала...
И на ладони
Прибоя
бьется
В предсмертном стоне.
О взрыве радио
Миру вещало,
Радио многое
обещало...
А в море синем,
Зарей объятом,
Качалась чайка
С крылом распятым.

ПОЕЗД

Летит состав,
Летит состав,
Себя по шпалам
Распластав.
За ним вослед —

Стальная нить,
Летит состав,
Состав звенит.
Стальной гребенкой рельсовой
Землю расчесав,
Проходит поезд рейсовый,
Гремит состав.
Людское море города
Плеснет волну
К перрону,
Словно к берегу,
Во всю длину.
Летит состав,
Летит состав,
Вагон в вагон,
Надежды
            и сомнения —
Судьбе
        вдогон.
Летит состав,
Под ним сустав,
Стальной припай
Звенит,
Как будто говорит:
«Не отставай!
Надень стальные башмаки
И догони!»
Мосты,
        туннели,
                огоньки...
Зовут они!
Колеса песенку стучат

Простую, безыскусную:
«Я время,
я спешу,
спешу!
И вас спешить напутствую».
Струна певучая поет
На гулком перегоне:
«Пусть отстающий — отстает,
Настойчивый — догонит!»

УМЕР ТРУС

Умер трус.
С души упали страхи,
Отошли навек.
Так лежит,
Как будто смерть героем
Встретил человек.

На лицо смотрю:
Не дрогнут веки.
От огня — руки не отведет.
Словно и не ведал он вовеки,
Что такое страх,
Холодный пот!..

Словно бы
И не был в жизни трусом,
Словно бы
Родился храбрецом:
С таким открытым он лежит лицом.

Я смотрю и думаю:
Покойник
Удивился, верно бы, тайком,
Если бы себя сумел увидеть
Хоть на миг
В бесстрашии таком.

СТУДЕНЧЕСКИЙ ДНЕВНИК

1. Встреча с Москвой

Огни попутного такси
С рекой огней вечерних
Слились.
И плавное теченье
Огромной световой реки —
В четыре льющихся строки —
Нас увлекло по назначенью.

Мне показалось, мы летим:
От самого вокзала
Все золотилось,
все текло,
Текло и ускользало.
Асфальты влажны от дождей,
В них светы-силуэты,
И вечер вновь вовлек людей
В игру теней и света.
Какая спешка гонит в даль
По улице прохожих?
Лучится на столбе фонарь,
Как золотистый ежик.

Блестят озера площадей,
И в них, завороженный,
Поток машин,
Поток людей
Мерцает, отраженный.
А ветер падает, слепой,
И сеются дождинки...
Лети, такси,
Свети, такси,
И всю Москву исколеси!
Пусть этот вечер над Москвой
Напомнит мне морской прибой
И пение пластинки.

2. Москва ночная

Ночные улицы пустынны,
Угомонились до рассвета здания.
Под небом звездным
                памятники стынут.
В каком-то тайном ожидании.
А может,
        эти изваянья
От площадей,
        со скверов
            и от станций
Задумали сойтись
И тайно повидаться,
Пока над городом царит молчанье?
Мне кажется:
Фигуры с пьедестала
Сошли
И двинулись устало.

В одеждах бронзово-гранитных,
Когорта старцев знаменитых.
Идут,
не поднимая тяжких век,
Из восемнадцатого века,
Из девятнадцатого века
В двадцатый век.
Ночь.
Отдаются гулкие шаги.
Вон в бронзовой задумчивости Пушкин
Встречает их
(Как в юности,
В лицее на пирушке!)
И Горький
из-под бронзовой руки
Глядит на них
И слушает гранитные шаги...
Уже забрезжило...
Рельефней изваянья.
Смолкает бронзы
Гордый перезвон.
Над спящею Москвой
Туманно фонарей сиянье.
И я неслышно уплываю в сон...

3. Взгляд из Москвы

Как и все,
Я рос среди людей,
А еще — среди родных степей,
А еще — среди рассветных рос,

А еще среди добра я рос!
А еще — среди весенних трав,
И, в дорогу дальнюю собрав,
Провожало все село меня,
Потому что все село — родня.
Мне светило солнце в вышине,
И чинары вслед махали мне...
За ложбинкою степной,
Вон за той косой речной,
Ну, а если из Москвы
Посмотреть — то за Луной,
За каспийскою волной —
Наше видится село.
Справа горы, слева лес.
По весне село, как есть,
Белым пухом замело.
Там чинар тенистый ряд,
А под ним дома стоят.
Будят ветра голоса
Наши горы и леса,
Будят крики петухов
И детей и стариков.
А под вечер вдалеке
Слышен голос чабана,
Собирается к реке
На концерты тишина.
Как и всюду, тишина
Музыкой населена:
И свои хористы есть,
И свои солисты есть,
И лягушки есть свои,
И, конечно, соловьи.

Нас из этого села
В неизвестность жизнь вела.
Там старушка в тишине
Не забыла обо мне.
Бабка добрая моя,
Не грусти, не болен я,
И Москвой доволен я.
Не тянись за веком я,
Стал бы человеком я?
А Москва, она — Москва,
Это — город городам,
Потому о ней молва
И гудит по проводам!
Так что, бабка, не грусти,
А писать ленюсь — прости!
Знаю, старая, тайком
Ты, наверное, всплакнешь
И слезу свою смахнешь
Козьим вязаным платком.
Знаю, память за порог
Поведет тебя опять,
После странствий и дорог
Из Москвы меня встречать.
Дни считая, ждешь и ждешь!
В ожиданьи жизнь прошла...
Разлетелась молодежь,
Вот такие-то дела.
А когда-то на войну
Проводила сыновей,
Все ждала от них вестей,
Как деревья ждут весну.
Много зим пройдет и лет.

Не забуду тот рассвет:
Как на счастье мне водой
Ты плеснула вслед.

* * *

На двоих нам дали комнату
Солнечную,
        двухоконную.
Пожимаем руки,
        как и водится,
Время самое знакомиться,
Поднимать, как говорят, забрало:
— Алексей, с Урала.
— Ялчин, из Баку.
Повезло нам, парень —
                земляк к земляку!..
— Ну какие земляки?..
— А разве нет?
Нас роднит на карте красный цвет,
Как бы ни были полярны адреса,
Что меж нами? Часовые пояса?
— Ну, тогда — порядок!
— Откровенно рад!
— Значит, брат по духу?
— И по духу — брат!
Дружба нам не помешает,
Это сразу мы решили,
Быт голодного режима
Дружба очень украшает.

День за днем.
Живем на пару,

И печаль,
И радость — вслух.
На серьезе Лешка вдруг:
— Ну, какой я, — спросит, — парень?
— Ты отличный парень, друг!
А в глазах весна и Волга,
А во мне — поет Хазар...
До стипендии подолгу
Не ходили на базар.
Чтобы другом называться,
Уясните навсегда:
Ради друга оставаться·
Без обеда — не беда.

И сражения бывали,
Все случалось, воевали:
Зло стихами убивали!
Поэтические споры —
Над студенческой судьбой.
Но решается не скоро
За строку словесный бой.
В остальном же был порядок,
В общежитии мы — рядом.
И на лекции мы — рядом
От начала до конца,
Как два брата-близнеца.
Жизнь сама приоткрывала
В мир непознанного двери
И в сомненья — в равной мере.
Постиженье вечных истин —
Постиженье горных высей,
Где над пропастью мы виснем,

Но карабкаемся выше.
Постигали постепенно:
Человеческая жизнь
Бесконечна и мгновенна,
Вечность — лучшая из тризн.
Изменялись только краски,
Изменялись только звуки,
Новые сложили сказки,
Вечны только труд и руки.
Смех и слезы — повсеместны,
Оправдания известны.
Восклицанья неуместны!

А отсутствие металла
Нас не очень угнетало.
Занимала мысль иная:
Кубы молодость взрывная,
Землетрясение в Иране,
Ну и все —
в подобном плане.
Нет, дела совсем не плохи,
Это что-то означало,
Если голосом эпохи
Правду радио вещало.

4. У братской могилы

Мы у братской могилы.
Цветы.
Тишина.
На шлифованный мрамор
Легли имена.

Мысль стремится взлететь,
Словно раненый сокол,
Но жестоко земли притяженье,
Жестоко.
Не дано нашим взорам
Проникнуть в нее
Через толщу годов.
В эту толщу земную,
Где в могиле одной
Уложила беда
Погребенных солдат навсегда.
Луч на мрамор упал,
Словно с ветки птенец —
Золотой уголек
Над холодной золой...
Может, здесь похоронен
И Лешкин отец,
Может, дядя мой
Этой засыпан землей?
Но случалось,
сходились пути на войне.
Может, где-то они
и встречались случайно.
Молчаливый гранит
не поведает мне,
Не поведает мне,
не откроет мне тайны...

Но я тебе — ты слышишь — грусть,
Сдаваться и не собираюсь,
Забыть, пожалуй, не берусь,
А вот не хныкать — постараюсь.

Жить обещаю,
Как они,
Мой дядя
И отец Алеши,
Ценить отпущенные дни,
Быть к самому себе построже.
Мы все уйдем.
А вот мечты
Останутся неотвратимо!

...Стоим у мраморной плиты,
Как два солдата-побратима.

5. В доме Герцена

Дом Герцена.
История сурово
Крылом незримым осеняет нас,
И мы привстать почтительно готовы,
Как будто Герцен к нам войдет сейчас.
Прислушайся, взволнованное сердце:
Скрипят полозья,
Колокольцев смех...
И Пушкина в дверях встречает Герцен,
Поэт со шляпы стряхивает снег.
Но, зыбкое виденье нарушая,
Напомнив мне,
Где явь, а где мечта:
— Что пишете? — спросил меня Ошанин,
И все вернулось на свои места.
Я перечислил все, за вехой веху,
Написанное помня до строки.

Мой педагог был добрым человеком
И попросил меня прочесть стихи.
Растерянный, я замер на мгновенье,
Но вспомнив, что читал стихи не раз,
Я выдал лучшее свое стихотворенье,
Так выдал, словно душу — напоказ,
Как будто чтенье слушал весь Кавказ.

Да, человек царит и над пространством,
В итоге — и над временем царит.
И это в наши дни уже не странно,
Когда уходят спутники в зенит.
Еще вчера легендами звучало,
Что нынче — жизнь,
Реальное начало.
Да разве Герцен мог себе представить
В России снежной,
В тот далекий год,
Что в этом доме на Тверской заставе —
Внук чабана
Стихи свои прочтет!

ТАКОЕ СЕРДЦЕ!

Знаю,
Тесно сердцу моему,
Я давно решил уже ему
Подарить желанную свободу —
Небеса, равнины,
Горы, воды...

Ливни подарю ему и сели,
Сам люблю мятежное веселье.
А когда цветы пойдут по склонам,
Расстелю простор ковром зеленым.
Разожгу пастушеский костер,
Прозвучу свирелью среди гор,
Поднимусь на снежную вершину,
Водопадом с высоты низринусь.

Знаю,
Тесно сердцу моему,
Душно
В этих стенах пропыленных.
И не верит сердце никому,
Как степной пугливый джейраненок.

ХАТЫНЬ

Здесь — память.
Здесь гранит у изголовья
Торжественно суров и угловат.
Здесь нет золы,
Но бредит ночь золою
Над теми,
Кто ни в чем не виноват.
Над ними время воплотилось в камень,
Не в щебень разрушения,
В гранит,
И, словно пламя —
К небу языками —
Оно пожара контуры хранит.

Молчит Хатынь —
Гранитное отчаянье
Сожженных и развеянных в пыли.
Здесь не цветы,
Детей глаза печальные
Молитвенно восходят из земли.

Не ветры слышу —
Это люди стонут,
Не ветры слышу —
Крики матерей.
И как в тумане
Корабли к затону —
Плывут сквозь память
Остовы печей.

Обугленная заживо деревня!
И юные в земле,
И старики,
Обуглены заборы и деревья...
Влюбленных губы...
Школьные листки...
В земле твои обугленные песни,
В земле твои обугленные сны.
Земля... Могилы братские тесны...
И снова звезды на небе воскресли.

Деревня белорусская, Хатынь!..
Кровоточит израненная память,
Слеза моя горячая, остынь!
Убудут слезы,
Боль не перестанет!

Хатынь.
Молчанье.
Каменные свечи.
Святое место скорби человечьей.

ЗДРАВСТВУЙ, ПЕТЕФИ!

Здравствуй, Венгрия.
Здравствуй, поэт,
Издалека принес я привет.
Здесь, на древней мадьярской земле,
Все поет,
Все цветет— о тебе.
И когда мы одни,
И в толпе, —
Здесь молчание — знак о тебе.
Ты священно прописан везде,
В каждом камне,
Травинке,
Воде.
Это — адрес затерянный твой,
Воскрешенный строкою живой.
Вас посмертно с Мушфиком роднит
Безмогильность,
Отсутствие плит.
Эта долгая рана болит!
Люди знают, не вечен гранит,
Вечна — песня,
А песня твоя
Серебром родниковым звенит,
Пробудив золотые поля.

Здесь ты жил,
Здесь ты стал знаменит.
Жизнь твоя — не Дунай ли? — течет,
А глаза твои — глубже озер,
Ну, а все остальное — не в счет,
Если верит в тебя твой народ,
Если песня летит по горам,
По долам твоей Венгрии милой,
Словно солнечный свет по утрам,
И стихов твоих высится храм...
А бессмертью — какая могила!

БИРЮСА

Переходим на плоты
В царстве скал,
тайги,
воды.
В этих чертовых местах
Только плавать на плотах!
Здесь провалы — глубина:
Не увидите и дна.
Как восходят к небесам
Эти кручи —
видел сам.
Впереди утес возник,
Как веков гранитный крик,
Как окаменелый вопль!..
Скалы сумрачные в ряд,
Словно воины стоят,
Охраняют Бирюсу,

Эту дикую красу.
Может быть,
          из их ладоней
Льется речка Бирюса
Сквозь таежные леса?
Неумолчный слышен гул...
Эхо каменных фигур?
Может, это и не горы
У реки сошлись на круг,
Может, это — к небу
Скорбно
Множество поднятых рук?
А быть может, эти горы —
Изваяния богам?
Нет, скорее, камень гордый —
Памятник сибирякам —
В назидание векам.

ПЕРЕВОДЧИК

Что видел — тут же называл,
Переводил: дорога...
                    перевал...
Вон — дерево,
А вон — река,
А это, в небе, — облака.

Но в чуткой зелени ветвей
Внезапно грянул соловей.
Мой переводчик замолчал,

А что ему еще осталось?
Та песнь словам
не поддавалась.

И, слушая, подумал я:
Ему бы крепенько досталось,
Переведи он соловья!

* * *

Голос топора зимою так звонок,
ветви срубленные — лежат,
а деревья вокруг
тонко-тонко,
как стрелы, дрожат.
Видно, этот мужчина рощу сухую нашел,
и падают ветви — от взмаха.
Но если он рубит ствол —
десять саженцев сохнут от страха...

* * *

А было б забавно
стать снова одним из наивных детей.
«Странные люди взрослые», —
думают самые маленькие из людей.
На каждом шагу ими обманут ты —
то резиновую соску дают тебе вместо еды,
то картонный кинжал,
то игрушечного кита,
и этим маленьким миром обмана
голова твоя занята.
Все тебя провести хотят.
И никто не скажет — «не верь, мое дитя»,

и обманы те уже не прополоть,
но если б я и вовсе ничего не понял,
ложь вошла бы в кровь мою и плоть.
Истоки жизни затерялись в обмане,
и хоть я часто пыль небылиц с себя сдувал,
все же по привычке
каждый враль бессовестно меня надувал.

* * *

Во мне родник и радостный, и светлый
звенит.
И рад я зелени листвы,
окраске солнца,
рад звучанью ветра,
прозрачности небесной синевы,
и берегу,
и ласковости моря,
вершинам горным,
глубине долин.
Я радуюсь,
всему земному вторя.
Я столько вижу на земле причин
для радости.
Все пропиталось светом.
Во всем и всюду радость узнаю.
И я не человек,
я в мире этом,
как будто остров Радости, стою.

ЭКЗАМЕН

Экзамен — что проще? Вопрос и ответ!
Но жизни зачин и ее окончанье —
Такой же экзамен: смятенье, молчанье
И поиски жадные, в чем же секрет?

С сочувствием смотрит наставник седой:
Какие мечтанья, какие мученья!
Я глохну от общего сердцебиенья
В дни сессий, особенно летней порой.

Экзамен? Да это война или мир,
Стратегия, тактика, рок или случай!
И, как под обложкой, за дверью скрипучей
Семейный роман и семейный кумир.

Экзамен порой вознесет простака
И свалит всезнайку: на все есть резоны —
И право, и правда, и смысл, и законы, —
И, ставя оценку, не дрогнет рука.

Но я ведь о том, что и в жизни сперва
Звучит перед всеми безвестное имя,
А там — первый взгляд и шажок, а за ними
Ты первое слово лепечешь едва.

Вопросы обрушиваются на нас,
Скользим мы и падаем, как под метелью,
Подъем одолеем — зияет ущелье...
Здесь может сорваться любой верхолаз!

«Ну, что ж, отвечайте!» И вновь тишина.
О смерть, уж не ты ль принесешь
избавленье?
Нет, нет, вопреки малодушью и лени,
Ответ — это жизнь. Это только она!

ВАЛЬС

Кружатся стены и
Под каблуком
Попеременные
Пол с потолком,
Кружится рядом и
Кружится в вас
Взлетами, спадами —
Вальс,
Вальс,
Вальс!

Кружится шалая
Мысль в голове,
Кружится алая
Грань в синеве,
Кружат стихи мои, —
Ах, не до вас...
Рифма стихийная —
Вальс,
Вальс,
Вальс!

Кружит мой огненный
Друг — пиала,

Солнце обогнано,
Кружится мгла, —
Пейте, созвездия,
Хватит на вас,
Только бы вместе и —
Вальс,
Вальс,
Вальс!

Раз, еще раз,
Еще раз, еще раз,
Кружит пожарище
Радостных глаз,
Кружится кружевце
Здесь, возле вас,
Кружится, кружится
Вальс,
Вальс,
Вальс!

В вальсе мы молоды,
В вальсе равны,
Вальсу не головы —
Ноги нужны!
Горе сторонкою
Гонит от вас
Чудище звонкое —
Вальс,
Вальс,
Вальс!

ПЕСНЯ СТАРОЙ ЧИНАРЫ

Я век зеленый прожила,
Теперь я только маюсь.
Не тронь иссохшего ствола,
Я не согнусь — сломаюсь!
Мой стан не гибок и не крут,
И листья больше не растут.

Я черно-золотая жердь
На утреннем пожаре.
Пережила я даже смерть:
Я — памятник Чинаре.

Пора упасть, исчезнуть, сгнить,
Сгореть в кострах веселых!
Но аисты успели свить
Гнездо на ветках голых.

Но аистята на руках
У повитухи старой...
Нельзя мне возвратиться в прах,
Должна стоять чинара.

БЫТЬ МОЖЕТ...

Нашел дорогу, потерял дорогу,
И счастье отвернулось от меня.
Пока «быть может» я твердил с тревогой,
Любовь пропала середь бела дня.

Ищу ее и отдыха не знаю,
Ищу твои глаза по всей стране.
Гудят мне ноги: «Стой! Присядем с краю!»
«Ступай! Быть может!..» — шепчет
сердце мне.

ЗМЕЯ

Белые расисты называют взбунтовавшихся негров черными змеями.

Змея упорно жалом роет нору.
Работа стоит ей немалых мук
и стольких сил,
а движется нескоро.
Лишь выроет —
запашет нору плуг.
Змея сбежит.
Беда ее, как вора,
по свету гонит.
Меж камней скользит змея,
и, словно на манер разряда,
искрится чешуя.
Зуб ядовит,
но жизнь змеи сама подобна яду.
А ты,
прогнавший из норы змею,
отнявший все,
дрожи за жизнь свою.
Безногая, безрукая —
в бою
ей нечего терять.

Ничто не любо.
Не все равно ли:
потеряет яд,
запрятанный на самом донце зуба,
иль жизнь,
что яда горше во сто крат.

МУЖЕСТВО

В гражданскую
совсем мальчишкой драться,
а в зрелости
еще одну войну
пройти.
Ходить под смертью,
быть в плену,
бежать,
везде собою оставаться.
И даже там,
где без вины врагом
объявлен был,
ничем не поступиться,
не усомниться в самом дорогом
и веру в справедливость по крупице
беречь в душе,
держаться...
чтоб потом
в каком-то мирном ведомстве,
в конторе,

молчать перед начальником,
который
умишком мал,
обширен животом.
Скрипеть зубами...
Мужество вчера,
как партизан, в душе его восстало,
и на виду взволнованного зала
вдруг ожила уснувшая гора.
Заговорил вулкан потухший.
Лава,
прорвав жерло трибуны,
смыла зава
и закружила в откликах рядов.
Два серых глаза зава,
как два дула.
Не чувствует
он под собою стула,
в душе отправить мужество готов
на пенсию.
Пускай не без почета,
с улыбкой,
но прогнать,
свести с ним счеты...
Послушайте!
Задача из задач!
Остановите тихие собранья.
Уж лучше облегчите душу бранью.
Пляши на свадьбах,
на поминках плачь.
А на собраньях говори открыто,
не торопись в податливую свиту

безмолвных,
чтоб сберечь житье-бытье.
Будь мужественным, дерзким,
действуй смело.
У смелости всегда найдется дело.
Не выдворить на пенсию ее.
Она тебя найдет во взгляде сына.
Ее ты должен в сыне сам растить.
Однажды поступил не как мужчина,
то сможешь ли потом себя простить?
А главное, простят ли сыновья...
Ушла бы смелость,
все внутри тая,
на пенсию,
в запас иного рода, —
не стало б население народом.
Отчизною не стала бы земля.

СПАСИБО ЕМУ

В гигантских объятьях галактики —
наш маленький-маленький шар.
И так растревожен он:
                    кажется,
сейчас его хватит удар.
На нем океаны,
              моря
                  и реки,
и собственно материки.
Блуждает мечта человека
в гигантских объятьях галактики.

И еще один человеческий дар
дан человеку.
Он землю
в объятьях своих
укрыть надеется.
Он примеряется к скорости света.
А сам лежит в тени
небольшого деревца
и размышляет про это.
Что ж, спасибо ему.

ЦВЕТЫ ЗИМОЙ

От студеных морозов, от долгих буранов
на ресницах Камчатки белесые льдинки.
Но на тучи направлены жерла вулканов.
Жар и холод земные сошлись в поединке.
Бой стихий узаконен природой самою.
Золотые фонтаны врываются в тучи.
А цветы вкруг вулканов растут и зимою,
словно остров весны под защитой могучей.
Так и в жизни...
Казалось, что может быть хуже,
над тобой нависает смерть глыбою снежной.
Но, как в недрах вулкана проснется
надежда,
и мечты расцветают и в самую стужу.

ЧУДО

За что тебя люблю, ответить я б не смог.
Два чуда — ты и я — собою все затмили...
Как в этот мир пришли в один и тот же
срок?
Как встретиться могли в таком огромном
мире?

А сколько есть вокруг чудес — приход зари,
огонь, вода, земля и небеса над нами.
Не чудо ль эта ветвь: ты только посмотри —
с зеленою листвой и белыми цветами?

То звуки тишиной прикроет, словно щит,
то буйно, как вода, прорвется сквозь
запруду,
то вихрем над землей, то громом пролетит,
то дремлет меж камней в горах земное чудо.

Откуда по ночам столь светоносны сны?
Не чудо ль блеск воды и в подземелье
черном?
Надеждою живут те, кто обречены...
И в четырех стенах, порой, мечте просторно.

Пылает солнце, чтоб дарить планетам свет
и освещать для них вселенские просторы.
Брось камень — упадет: опоры в небе нет.
Земля же в нем живет без всяческой опоры.

Для самых голубых глаз мир не голубой,
не сер для серых, черным он — не черен.
Я даже не умру, а проиграю бой,
загадок не решив в бессмертном этом
спорe...

За что тебя люблю, ответить я б не смог.
Два чуда — ты и я — собою все затмили...
Как в этот мир пришли в один и тот же
срок?
Как встретиться могли в таком огромном
мире?

СКАЛА

Скала обвалилась,
со стоном упала скала.
Низринула вниз ее
ей непонятная власть.

И падая,
в страхе бедняга понять не могла,
что ниже земли,
своей матери,
ей не упасть.

В АСТАРЕ

В Астаре встретил тучу я
прямо над самой границей.
Ее яркая молния душу поранила мне

Постояла она,
чтоб дождем над рекою пролиться.
Лился дождь над рекой
и на этой, и той стороне.

В Астаре встретил солнце я, —
надвое свет не делило,
этот берег, как брата,
поставив с другим наравне.
Неделимое надвое
с неба единого лило
одинаково свет
и на этой, и той стороне.

ХОРОШО, ЧТО...

Хорошо, что живу, что при деле.
Человеком, как все, наречен,
проношу я сквозь дни и недели
жизнь, взвалив, словно груз, на плечо.

Не родись я, лежала б округа
все такой же, мир так же б шумел.
Только дружба лишилась бы друга
и на сердце бы мир обеднел.

Не родись я, на место Фикрета
встала б сотня Фикретов, и пусть...
Только как не познавшие света
к вам пришли б моя радость и грусть?

Грусть моя, все, чему был бы рад,
нерожденные, к миру взывая,
во все б двери стучались подряд,
вам, родившимся, спать не давая.

* * *

Словно в ножнах, вершины лежат
в облаках.
Отразилась небесная грусть в родниках.
Караван этих гор затерялся в веках.
И хребты изогнулись, как змеи, устало...
Это древние горы твои, Закаталы.

В сердце древние горы не каждый вместит.
Эти горы, земля моя, верный твой щит.
На одной щеке солнце у них, снег лежит
на другой... Он подернулся дымкою алой.
Это древние горы твои, Закаталы.

Только мужество их охраняло от бед.
Как зеленый тулуп, лес на плечи надет.
Лишь запой, и откликнутся птицы в ответ.
Друга дружба ждала здесь, врага смерть
искала...
Это древние горы твои, Закаталы.

ДЕВУШКИ У ДОРОГИ

Когда придет весна в село и к нам, —
в нарядных алых платьях,
как по знаку,

все девушки стоят по сторонам
дороги,
слившись с зарослями мака.
Волнуются, когда идет машина.
Вздохнут, коль мимо них она прошла.
Издалека, как алые кувшины,
девчата —
вдоль дороги у села.
Но только не о свадьбе на колесах
речь поведу.
Слова я приберег
для девушек села темноволосых,
гадающих,
когда придет их срок.

Когда и к нам в село придет весна,
в любовь одевшись,
родникам округи
безмолвно шепчет девушка о друге,
и речь очей печальна и нежна.
Зеркален ключ...
Неведомо ему,
лик этот
или отраженье краше.
И я не знаю...
Но лишь потому
красивы так цветы в округе нашей.

Стоят, волнуясь, девушки села,
его краса и гордость всей округи.
Сгустится над землей ночная мгла,
и по домам расходятся подруги.

Но в окнах, светом став,
они видны.
Ах, девушки села,
не без причины
дороги ночью переходят в сны,
и вас увозят белые машины.
Увозят вас,
а значит выпал срок,
и ожиданье обрело героя...
А девушки,
лишь солнце — над горою,
стоят, в любовь одеты,
вдоль дорог.

ДРУЗЬЯ МОИ, РАБОЧИЕ

Они всегда мне руку крепко жмут.
Друзья мои, рабочие.
И это
вполне понятно:
мускулы, как жгут,
как будто бронза, мускулы.
И света
во взгляде хватит
хоть на четверых.
По взгляду, по руке узнаю их,
руке, державшей смолоду штурвал.
По взгляду,
что весь мир обогревал
сыновнею любовью.
По руке,
грядущий день точившей на станке,

варившей сталь.
И сталь, и баяты.
Варившей все,
чем обладаешь ты.
Пот, падавший со лба,
рабочий пот,
все, что мешает людям,
он прожжет.
В нем есть частица
и торжеств, и бед.
Рабочий пот,
чего в нем только нет:
частица страсти, юности, любви,
тепла людского,
что течет в крови,
частица весен, осеней и зим.
Сталь всех прочнее,
смешанная с ним.

СОЛДАТСКАЯ БАЛЛАДА

Земная память
глубины земной
намного глубже.
Слышатся в ней стоны,
проклятья,
порожденные войной,
плач матерей,
гнев плоти опаленной
в огне боев,
убитая любовь,

израненная молодость,
чья кровь
не запечется,
так и будет течь,
поля, где сеял смерть кровавый меч,
взывающие к состраданью муки
и от плечей оторванные руки...
В той памяти глаза не знают сна,
потерянные в самом пекле боя.
В той памяти расстреляна весна,
и в вечном дыме небо голубое,
и звезд нет не кровавых ни одной.
Земная память
глубины земной
намного глубже.
Нет, не молчалива
история —
надломы и надрывы...
А жизнь одна,
и нету запасной...

Земля черна, —
где маки взять смогли
свой цвет?
Какому следуя закону?
А это кровь защитников земли,
которую хранит земное лоно.
Шли следом за отцами сыновья,
и кровь веками продолжала литься.
Свой голос у любой земной частицы,
и память, и история своя.
О, Родина,

и мы твои сыны.
О, Родина,
и мы твои солдаты.
Мы по рожденью в списки внесены
защитников твоих,
и это свято.
Мы в правоте твоей убеждены.
Трибуна ты для наших слов
и нива
для наших дел.
Будь юной и счастливой.
Уйдя, твоей землею станем мы...
Он автомат не выронил из рук.
И найден так,
убитый здесь когда-то.
Быть может, деда вспоминает внук,
мой современник,
глядя на солдата.
Как странно за грядой ушедших лет
все видится...
Мальчишка с автоматом,
что кроме смерти видел этот дед?
Лишь двадцать деду было б в сорок пятом.
Как звать тебя, убитый в том году?
Солдат, покинув поприще земное,
в твое бессмертье я не попаду,
воскреснув, ты не встретишься со мною.
Ты тридцать лет не выходил из боя,
пластом войны укрытый тридцать лет.
И светит все один и тот же свет,
свет, замерший однажды над тобою.
Все это время — палец на курке.

И уместились на одной доске
бессмертие
и безымянность.
Имя
украла смерть,
скрыв в пламени и дыме.
Что говорила о тебе родня?
И сколько лет ждала: придут ли вести,
затерянные где-то?..
А невеста?
Ждала ли, память о тебе храня?
Надеялась, по-прежнему любя?
Быть может, дети были у тебя?
И как жилось на этом свете им?..
Оборвана судьба последним боем.
Не стал ли б ты известным всем героем,
когда из боя вышел бы живым?..

Оставшийся в окопах, знай, мой брат,
что мир мы защищаем, как солдаты.
История не повернет назад,
но каждый час
и каждый день чреваты
опасностью.
И как ни дорога
цена, которой этот мир оплачен,
мы, словно под биноклями врага,
работаем, порой...
Мир озадачен,
мир нервничает,
тратит столько сил,
чтоб света мирных дней не погасил

взрыв черной злобы,
чтобы черный час
не заслонил собой десятилетья.
Две мировые...
Не допустим третьей.
Ответственность за мир лежит на нас.

У матери моей пять сыновей.
Как жизнь ее стоим мы перед нею.
Но только о войне скажите ей:
чем мысль тревожней, тем она бледнее.
В раздумья запахнется, словно в шаль.
Ах дети, сколько пережито с ними.
Одно дитя — одна о нем печаль.
И впятеро печалей — с пятерыми.
Когда гостит у смерти на войне,
отпустит смерть домой обратно сына?
Останься мать с собой наедине —
всегда для страха сыщется причина...
Запомнил я недоуменье брата.
Из нас, всех братьев, самый младший он.
Мать плакала во время похорон
останков Неизвестного солдата.
Мать младший брат увидел у экрана.
Сказал он ей:
«Ты плачешь? Отчего?
Я понимаю... Только все же странно...»
«Я плачу вместо матери его...»
О, матери, и подвиги, и слава
сыно́вья
вам принадлежат по праву.
О, солнце, сердце матери согрей.

Нам кланяться им в пояс подобает.
На Родине хоронят матерей.
За Родину сыны их погибают.

ТАЙГА

Не видно ни дороги, ни тропы.
Повсюду лес,
куда ты ни ступи,
в тайге.
Стой тихо —
белки
не ускачут прочь.
Темнее день,
еще темнее ночь
в тайге.

На свой манер
здесь, протрубив «ура»,
тебя облепит тучей мошкара
в тайге.

Тут ветер шум
не станет поднимать,
вершины сосен,
гладя, словно мать,
в тайге.

От моря прилетев,
издалека,

он покрывалом стелет облака
в тайге.

Но с морем все же —
из семьи одной.
Зеленый Каспий вижу подо мной
в тайге.

Здесь нефть мои бакинцы-земляки,
как в море, бурят.
Черные соски
знакомых вышек — у Тюмень-реки,
в тайге.

АНГАРА

Отпил глоток —
и богатырь...
Ты душу мне переполняла.
Простерлась ты,
рука Байкала,
которой он обнял Сибирь.
Ты ловишь звезды в невода,
льдам не послушна,
ждешь весну ты,
огонь родившая вода
и древняя любовь якута.
Я снова над тобой стою
и долго слушаю, как прежде,
твою певучую струю
под мерный рокот волн прибрежных.

ЕСЛИ УМРУ Я...

Если умру я,
еще одного человека
в мире не станет.
Воспрянет еще один враг.
Если умру я,
еще одна скорбная веха
С кладбищем свяжет друзей моих.
Пусть будет так...
Если умру я,
слеза в мейхане развеселой
вдруг заблестит в чьих-то пьяных
и грустных очах.
Если умру я,
мой гроб минут десять
тяжелой
памятью будет лежать у друзей на плечах.
Мальчику первое, может, испорчу свиданье.
Встретит процессию,
бросит: «Мертвец — не к добру.
Больше я здесь не пойду...»
Что сказать в оправданье?
«Глупый, не бойся,
в другой-то я раз не умру...»
...Даже, когда я пойму,
что мой путь все короче,
что моя жизнь по частицам уходит на нет,
я захочу
и из этой мучительной ночи
выйти и встретить
по-летнему долгий рассвет.

КРАСНЫЙ ЦВЕТОК

Дома, деревья в ночь погружены.
Безмолвие сгустилось над Хазаром.
Последнее тепло былой весны —
листва лежит на стылых тротуарах.
Невидимая туча собралась
метать в деревья мелкие снаряды
осеннего дождя...
Но кто-то рядом
сорвался, над собой утратив власть, —
и в темноту ракета понеслась.
Вонзился красный праздничный цветок
в громадную немую бездну ночи.
Но тишины он расколоть не смог,
и даже самый маленький кусочек
не отломился...
Догорал цветок.
Он даже не добрался до глубин.
Он таял —
в небесах совсем один, —
искрился,
умирая,
и погас...
Что делать?
Снова осень смотрит в окна.
Пришел черед померзнуть
и помокнуть,
и с непогодой настигает нас
пора осенних дум...

Цветок мой красный,
самоубийством кончил ты напрасно.

ХАЗАР МОЙ

Ты меня растревожил, Хазар мой.
Что невольником пленным поник?
Невеселый и иелучезарный,
весь — как будто о помощи крик.
Не смирился ли, бич корабельный?
Как прикажешь тебя понимать?
Я не слышу твоей колыбельной,
той, что в детстве певала мне мать.
Озорник ты мой,
баловень звонкий,
мой хороший, единственный мой,
что обиженным смотришь ребенком
и шумишь погрустневшей волной?
Умоляю тебя, умоляю,
мой хороший, единственный мой!
Хочешь, жажду твою утоляя,
я пойду на природу войной?
Я поймаю приблудные тучи,
над тобою их выжму, Хазар.
Где-то слышал я, брат мой могучий,
что безумен ты...
Кто-то сказал...
Верно сам не умен он.
Без шторма
море морем нельзя называть.
И озера не все ведь покорны.
Если б смог ты во сне прибывать!..
Тосковал без тебя я, Хазар мой,
и вдали вспоминал много раз.
Ты плеснись мне в лицо, лучезарный,

и волной смой печаль с моих глаз.
Сделай так, чтобы боль отступила.
Разыграйся живою волной...
Озорник ты мой,
баловень милый,
мой хороший, единственный мой.

РОДНАЯ МОЯ ДЕРЕВНЯ

С горизонта упало на кромку земную
пожелтевшее солнце осенним листом.
И негромко звучат,
чтоб погаснуть потом,
как огонь,
голоса...
Лишь один не засну я.
В волосах поздней ночи запутались зерна
фонарей придорожных.
Но первой росой
заблестела листва,
словно бисер узорный.
Молодая луна
золотистой косой
по равнине свое расстелила сиянье.
Расстелила —
и тени как будто длинней.
И теперь уже небо земли зеленей —
словно поле с цветами.
Чтоб в холоде раннем
не продрогли дороги,
их, как одеялом,

застелили следами,
уйдя по домам.
Словно думы земли, закурился туман.
О, деревня моя,
как ты за день устала.
Как душа моя с детства в тебя влюблена.
Как скучал без тебя я,
родная деревня.
Все до малости дорого,
близко в тебе мне.
Над тобою, уставшей, стоит тишина.

Но лишь солнце взойдет,
ты пробудишься снова.
Вновь проснутся дела —
и тебя не узнать...
В каждой песне — тебе
мое лучшее слово,
дорогая моя, хлопотливая мать.

ВЬЕТНАМСКАЯ СЮИТА

1.

Соединив под синью голубой
людей и зелень,
океан и сушу,
ты сделался планетою живой,
мой шар земной.
В тебя вложили душу.

Я видеть рад
                    тебя среди планет,
затерянных в космических глубинах.
Всем светит солнце.
Ведь у солнца нет
детей, ему особенно любимых.
И было бы смешно винить его.
Здесь каждая планета — существо.
Характер свой,
свои у каждой нравы,
загадочность своя.
И солнце право,
что вечно светит
равно всем, не зная,
где мертвая планета,
где живая,
взволнована ли чем-нибудь она
или стоит над нею тишина...
И если в голубой странице света
появится еще одна планета,
что солнцу? —
значит есть еще одна.
И обижаться на него смешно.
Пусть шли б века,
хотя бы миллионы —
об этом ведь не будет знать оно...

Мой шар земной,
мой мир зеленый!
Ты для меня немыслимо велик,
легко несешь свои ты океаны,
и каждый свой тяжелый материк,

хребты и реки,
города и страны.
Твое дыханье — это облака.
Твои дожди — живительные слезы.
Ты — зной пустынь,
ты — севера морозы.
И для тебя мгновение — века.

2.

Появимся на свет
и разлучимся
с тобою —
ты не ведаешь о том.
Идем пешком
иль в самолете мчимся,
и — тоже ты не ведаешь о том.
Мы на тебя обижены порою,
сердиты —
ты не ведаешь о том.
Влюбленными, счастливыми бываем
без меры —
ты не ведаешь о том.
Воюем на тебе
и погибаем,
и — тоже ты не ведаешь о том.

3.

Но знаю я —
твой воздух напряжен.
Эфир на части разрывают волны.

Клочки вестей летят со всех сторон.
И страшно мне становится
и больно.
Как много страхов,
явных, потаенных,
мы в воздухе смогли перемешать.
Наверно, вместо легких мне
приемник
поставили,
и должен я дышать,
как будто бы слезоточивым газом,
тревогами и муками Земли.
Тьма дикторов —
и все как будто разом
словами все вокруг обволокли.
Все вместе,
ни последних нет, ни первых...
А люди —
музыкальный инструмент.
И часто —
в неожиданный момент —
планета на моих играет нервах.

4.

Земля, меня послушай!
Есть народ
у синей чаши твоего Хазара.
Я — сын огней,
в моих устах живет
и мудрость, и душа преданий старых.
История моя живет во мне.

Я старше мифов греческих, пожалуй.
Зовемся мы не зря детьми огней,
но не затем,
чтоб мир объять пожаром.
Ты слышишь, мир!
Над нашей головой
спокойно небо,
как хлеб-соль на блюде.
Таким, Земля,
пусть каждый угол твой
повсюду станет,
страх забудут люди.
Спокойней будь,
как наш хлеб-соль на блюде.
Отцы хлеб называли —
трудовой.

5.

Ночной покров раскрыв над головою,
туда, где все еще идет война,
как черный ветер горя,
во Вьетнам
стремятся похитители покоя,
чтоб танки землю вспахивали там
и сеяли снаряды вместо зерен.
Там дымны кровью залитые зори,
цветы, трава, земля в крови.
Вьетнам.
Там смерть в супертехническом обличье
бредет по древним нивам и полям.
Горят дома,

как будто гнезда птичьи
в лесном пожаре.
Ты в огне, Вьетнам...
Наскучил Джону этот рок-н-ролл,
где бьют орудья вместо барабана.
Дробь пулемета
вместо радиол.
Сирены вой...
Зажав рукою рану,
танцует Джон,
лицом уткнувшись в грязь,
танцует на боку,
змеею вьется,
ужом то разогнется, то согнется.
Танцует бедный Джон в последний раз...
В Нью-Йорке где-то впрямь играет джаз,
и свет реклам, не уставая, пляшет.
Ждет Джона где-то женщина одна
и мысленно зовет его она,
и, может быть, украдкой даже плачет...
А здесь Вьетнам —
гигантской баррикадой
от моря к морю,
из конца в конец.
Здесь каждый новорожденный —
боец.
Берет винтовку в руки, если надо,
беременная женщина.
Вьетнам,
тебя ли, воин, обессилят беды!
По выжженной земле
могилы дедов

окопами легли твоим сынам.
Здесь воин — даже дерево простое:
обрубки-ветви,
грудь рассечена —
как раненый, который умер стоя
и не упал.
Священная война,
и гнев священен.
Даже этот гнев —
оружие.
И взгляды, словно пули,
две быстрых пули.
Ты, Вьетнам, в огне.
И жжет врагов он,
что его раздули.

6.

Джон полз.
Враждебны камни и деревья.
Какая боль!
И силы нет ползти.
Едва добрался до могилы древней,
стучится в землю кулаком:
— Пусти!
Пусти, старик!
Меня уж не спасти.
Пусти!
Нельзя мне ждать
и не умею.
Пусти, вьетнамец!
Я тебя сильнее.

Я — белый.
Мне пристало быть в чести.
Пусти меня, старик,
оглох ты, что ли?
Ты слышишь!
Сколько мне еще орать?
Мне, белому, нельзя валяться в поле.
Пусти!
Герой явился умирать...
Как!
Не пускать меня,
старик упрямый?
Хохочет Джон,
забыв и боль и страх.
Опять пополз...
А впереди реклама
нью-йоркская
купается в огнях.

7.

Чикагский бар...
И Джон, —
словно свеча
в каскадах электрического света,
ни жив,
ни мертв.
И песня Джона спета.
А джаз к нему взывает:
ча-ча-ча!!!
Джаз буйствует.
Дым.

Виски.
Толкотия.
Джои подмигнул
красотке одииокой —
как будто бы
сошла с рекламиых окон,
волиует взгляд:
смотрите иа меия.
Косиувшись обиажеиного плеча,
ветвится дым,
цепляет за ресиицы,
за волосы...
Джаз воет.
Ча-ча-ча!!!
Заметил Джон
ответный взгляд девицы.
Но, разобрав,
что парень без иоги,
оиа шагиула как-то неумело,
иевольио вздрогиув:
«Боже, помоги.
Ах, бедиенький,
а я еще хотела...»
Джои девушку ударил,
покраснев.
Швыриул бокал,
как кровью, пол окрасив,
но поиимал,
что гиев его напрасеи.
Отчаяииый,
больной,
бессильный гнев.

Хотел бежать
от взглядов,
но не смог.
Не убежишь,
когда ты одноног.
А джаз,
еще натужней грохоча,
захлебывался в звуках...
Ча-ча-ча!!!
Дверь настежь...
Три солдата входят в бар:
«Назавтра едем.
Времени так мало...
Пусть на дорогу позвенят бокалы.
Полнее лей —
Пускай бросает в жар...»
Джон долгим взглядом посмотрел на них:
и молоды они, и ноги целы.
Вздохнул печально
и совсем затих...
А джаз гремит,
ревет осатанело.
И рев в рекламы бьется сгоряча.
И, как стекло,
дробятся звуки джаза.
Расколот джаз.
Джаз в трещинах.
И разом
рассыпался,
разбился...
Ча-ча-ча!!!

8.

А звезды
льют по небу ровный свет...
Мой шар земной,
земля моя родная,
ты, ни о чем не ведая,
не зная,
летишь,
горишь
среди других планет.

* * *

Преследует меня твой жгучий взор...
Былую боль зову я на подмогу.
Все то, что пережил я до сих пор,
все, что прошел, и этого мне много...

Но рвешься ты в мой вечный непокой
с решимостью слепой и полупьяной,
как будто родилась, чтоб быть такой...
Но понятый тобою, чем я стану?

Отдай я душу, будь тобой любим,
ведь только больше одиноким буду.
Бродяге-ветру я необходим
и дереву, что шепчет мне о чуде.

Как без меня бездомным волнам быть?
И морем заштормит листва лесная...
Мне надо бы совсем тебя забыть.
Но только как забыть тебя, не знаю.

ЗИМОЙ

Ведь было сердце,
билось,
как скакун
в моих поводьях.
День еще вчерашний...
Все просто —
поверну его на пашню
и в гору поверну,
беспечно юн.

Вставало на дыбы,
сквозь пламя шло.
А сгоряча,
зайдясь,
на стену лезло.
И удержать бывало бесполезно.
Оно в ударе
стену бы прожгло.

Теперь —
настанет летняя жара —
его в прохладу я несу эйлага.
Зимой
оно не сделает и шага,
коль не укутать потеплей.
Вчера
без лифта
поднимался я
и взмок,
и отдышаться
к вечеру лишь смог.

НЕБО — ПЕСНЯ ГОЛУБАЯ

Небо — песня голубая.
Чем она мне дорога?
И откуда, я не знаю,
маки хлынули в луга?

Море — греза голубая.
Для тебя волна любая
вспыхнет, словно улыбаясь.
Ветерок и тот притих,
то щеки твоей касаясь
нежно, то волос твоих.

День с тобой — ясней, чем очи.
Ночь — луча звезды короче.
Я и ночь... Коль только с нею
без тебя быть довелось, —
и тоски она длиннее,
и длинней твоих волос.

УСПОКОЙСЯ, МОЙ БРАТ

Сердце камнем над черною бездной висит?..
Не тревожься,
шар кружится,
шар наш летит.
С миром все хорошо.
Успокойся, мой брат.
Он из света кроит себе добрый халат.
Тихо кружится он, пролетая сквозь тьму.

Я ему улыбаюсь,
я искренне рад.
Тихо крутится он...
Успокойся, мой брат.
Так же тихо
и я улыбаюсь ему.

ВЗЯТОЧНИКИ

Два подлеца
друг перед другом где-то
сейчас сидят.
Один из них берет,
другой дает.
Как под землею крот,
спит под деньгами подлость.
Тот, отпетый,
за деньги продающий
душу,
честь,
понятье для него такое есть,
как Родина?
Земля не горстка пепла.
Горшок с водою — это не река.
Честь Кёр-оглы —
с нею отчизна крепла.
А честь Хаджар — нет чище родника...
У взятки даже обликов не счесть.
Есть взятка —
перед власть имущим лесть.
Ложь с ликом правды —
тоже взятка есть.

Бывают взяткодатели в чинах.
Бывают взяткодатели без чина.
Бывают...
Взятка —
нож, вонзенный в спину,
зло, спрятанное
в четырех стенах.
Я знаю, это взятка виновата,
что предан был Бабек врагу за злато,
запутан был герой в ее сети.
Она метала камни в Мехсети,
повсюду продавая все,
что свято.
Мы тоже в этом были виноваты...

Но и сейчас в каком-нибудь углу
дают, берут,
открыв лазейку злу.
Стен не стыдясь...
Что им стыдиться стен?
Не постыдятся и пролитой крови.
И вот Бабек вновь попадает в плен.
Для Мехсети вновь камни наготове.
Ложится и на нас вина за это.
Ищите!
Снова прячась,
в свой черед
два подлеца
друг перед другом где-то
сидят —
один дает, другой берет.

ПИСЬМО САЙЯДУ

Выхожу я на берег.
А Каспий как будто живой.
Тяжело дышит Каспий мой,
грудь голубую вздымая,
прислонясь к горизонту лохматой, седой
головой.
Небеса хмурят брови,
обиды свои вспоминая.
Ветер мечется,
пробует:
есть еще силы в руке,
и ворочает волны,
как будто тяжелые глыбы.
Чья-то старая лодка,
по пояс зарывшись в песке,
распласталась у кромки воды,
словно мертвая рыба.
Море крыльями бьет о песок,
в перьях пены вода.
Станет в мире темнее,
и в небо поднимется море,
улетит, взяв на плечи
дома, буровые, суда.
А сейчас проверяет оно:
все ли спутники в сборе.
Над тобой небеса голубые,
ты в море, Сайяд.
Голубая вода под тобой
и еще — эстакада.
А еще пред тобою,

чем бы ни был ты занят, стоят
дальний берег и дом —
и забота твоя, и отрада.
И ребячьи глаза,
горящие, как маяки...

Море прутья железные рвет,
как рыбацкие снасти.
Море зверем бывает.
Оно обнажает клыки.
Обхватив буровую,
грозит ей оскаленной пастью.
Сообщение прервано...
Вынесет все,
пусть с трудом,
человек,
но на море,
порою, всех тягостней жажда...
Снова вспомнится берег
и взору представится дом.
И ребячьи глаза...
Я помню, сказал ты однажды,
в день рождения сына:
«Да будут здоровы всегда —
все на суше и в море...»
И так же сказать мы могли бы.
Но сказал это ты.
И потом вспоминал, как вода
обратилась к нам,
выбросив нá берег мертвую рыбу.
Серебристую песню.
Она голубую волну,

как одежду, откинула...
Бедная рыба.
Что с нею?
И мелеет наш Каспий,
мы ходим по бывшему дну.
Оттого ли у моря
с годами характер мрачнее?

Среди ночи туннелем
проходит стальной коридор.
Ты задумался,
лоб твой в морщинах, как хмурое море.
Буровую поставить
еще одну новую вскоре
надо будет,
вступая
в еще один с Каспием спор...
Утром ждете туристов.
Нащелкают фото,
потом,
улыбаясь, рассказывать станешь,
показывать, ибо
надо так...
А в глазах твоих берег
и дом,
и еще — на песке
серебристая мертвая рыба.

СЫНУ ЯЛЧИНУ

Я имя твое
напишу на граните
алмазной киркой.
Пусть ветер исхлещет его
злой до драки рукой.
Пусть дождь омывает.
Пускай иссечет его град.
Лучи,
милосердья не зная,
пускай опалят.
И имя окрепнет.
Гора, словно колокол,
поднимет
звон.
Кто б ни был в пути,
остановится он.
Тогда я еще одну службу тебе сослужу:
тебя из темницы любви моей
освобожу.
Скажу,
выходи с этой жизнью
один на один.
Теперь будь мужчиной,
живи своей волею сын.

МОЯ СВОБОДА

Вот солнце,
сверкнув в голубой волне,
коснулось каспийских вод.
И солнце во мне,
и море во мне.
И дождь для меня идет.

Цветы я красивыми быть учу,
деревья счастливыми жить учу
и землю доброю быть учу —
это нетрудно мне.

И эти здания
все мои,
и степи дальние
все мои,
во всех садах соловьи мои,
и горы вокруг мои...

Так радостно видеть бывает мне
и птиц в веселой голубизне
и рыб, сверкающих в глубине,
игрой встревоживших воды...
Поэтому вольное сердце во мне —
это и есть свобода.

ШУША

Здесь, словно из подножия веков,
течет вода.
А скалы — это время.
Рассыпавшись на сотни огоньков,
как радуга,
с ее цветами всеми,
глядят на солнце камни.
Облака
уселись, словно чайки, на вершинах.
По кручам гор звук скачет,
как по спинам.

Падет туман —
река уж не река.
Становится ущелье океаном.
На острове-вершине над туманом
стою я
        и читаю сказку гор
чудесную, что может лишь присниться.
Вот солнце поднимается жар-птицей,
и камни начинают разговор.
Гора светлеет, словно с неохотой.
Но протрубит лишь голос в вышине,
и скалы, как волшебные ворота,
откроются с протяжным скрипом мне.

И странно...
Где-то рядом век ракет
кричит про разрушительные силы.
Здесь, кажется, и времени-то нет,

тут спит оно
и крылья опустило.
Здесь гордость, величавость...

Утром алым,
являя лик бессмертной красоты,
рассеявшись,
туман уронит скалы
и разбросает по лугам цветы.
Здесь все родное:
рядом и вдали.
Волнения и вздохом не нарушу...

На пьедестале гор,
за облаками
Шуша,
ты — самый древний памятник земли.

ПРЕКРАСЕН МИР

Что смотришь уныло?
Ты грустно на мир не смотри.
Для самого лучшего в мире свой взор
отопри.
О взгляд мой, не прячь этот мир в свою
долгую грусть.
Печально струятся осенние воды?
И пусть.
Ведь лист пожелтевший —
не облик увядшей мечты.
Взгляни — в нем увидишь порой и
прекрасное ты.

По-своему в мире прекрасны восход и закат.
Листва возродится, как будто вернется
назад.
Прекрасное солнце прощается с миром
в свой срок
и взор не наскучит, чтоб ты любоваться им
мог.
Живи, от прекрасного, смертный, не стой в
стороне,
тогда тебе хватит одной этой жизни вполне.
Проснется душа —
как чудесен наш мир и велик.
Разумен ли тот, что унылым мир видеть
привык?

* * *

Я последнюю песню слагаю тебе в тишине,
и последнею данью моей будет песня
простая.
Защемит она душу, печаль отзовется во мне,
как прощальную песнь пропоет журавлиная
стая.

Я прощальную песню сегодня тебе пропою.
вечер, ветер последний, последний корабль
у причала.
И потом, словно в бурное море, не песню
мою,
а разбитое сердце я выброшу, чтоб не
мешало.

Все решится — сегодня я в пламени ночи
сгорю.
Но коль выйду живым из нее силой, данною
свыше,
встанет новое утро, я первую встречу зарю,
и проснется весь мир, мою первую песню
услыша.

ПРОСТИ МЕНЯ

Всех благ тебе, всех благ, родной мой край.
Я застаю большие перемены.
Усмешки нет в словах «районный рай»—
ты рай и вправду необыкновенный.

Привольно солнцу в хрустале воды,
совсем не помнят улицы о пыли.
За горизонт шагнув, твои сады,
как море, всю округу затопили.

Исчез куда-то лягушачий хор.
Коровий дух не застоялся всюду.
Не колоколит ночью каждый двор
собачьим лаем — это ли не чудо.

Растут дома, и ты, мой край, расти.
Я прозвище, обидное и злое,
в котором оживет твое былое,
сейчас бы и не смог произнести.

Да не смутит тебя мой внешний вид.
В деревню одеваешься попроще.
Привычка эта все еще сидит
во мне с ее понятливостью тощей.

Прости, что по причуде городской
сравняться я хотел с тобой нарядом,
мол, как и прежде, и сейчас такой...
Отсталым я кажусь с тобою рядом.

* * *

И небо смотрит в море, и звезда.
И отражает берега вода.
И где б ни находился, но о море
и думаю, и помню я всегда.

У моря началась любовь моя,
ни чувств, ни дум от моря не тая,
как море необъятное, и чистой
поэтому была любовь моя.

Быть может, создавала нас волна.
И прямо к солнцу подняла со дна.
И где б ни потерялись, — нас на берег,
на тот же самый выбросит она.

СТАРЫЙ ГОД

Садись поближе, мой старый год.
Бокалы вином наполним.
Известно, что было.
Не знаю, что ждет.
Давай о чем-нибудь вспомним.
Волна в океане ты,

и волну
я завтра — что делать? — перешагну.
Мне дальше идти пора.
Все прочее произойдет потом.
Но ты не сердись —
в океане том
я тоже простой корабль.

А ты в истории заживешь
одной страничкою...
Ну и что ж?..
Не хмурься, мой год, не жмись.
Ты не заброшен и не забыт.
Во мне ты тоже незримо скрыт —
душа и живая мысль.
Я все храню:
и любовь, и боль.
Нельзя расстаться с самим собой.
Увидимся и — не раз.
Я не прощаюсь, мой старый год.
Пока я жив, все во мне живет,
и встречи разыщут нас.

Я ЖИВУ, КАК ХОЧУ

Лунный свет,
это море...
Мое все, что видите тут.
И деревья мои,
и листвы легкомысленный суд.

Уплывут пароходы —
от них мне гудки остаются.
Мне улыбки красавиц,
мелькнувших в толпе, остаются
Мне плоды всех мечтаний моих
одному достаются.
И куда ни пошлю их —
в дорогу привычно идут.
На дорогу расходов не жалко.
Себя, не сгорая,
в пламя мака бросаю.
На небе звезду засвечу,
полюбуюсь.
Когда надоест — отключу.
Небеса, как приятель,
ударить могу по плечу.
Улыбнусь я лучу.
И не надо мне ваших
ни ада, ни рая.
В этом мире, дарованном мне,
Я живу, как хочу.

ПУСТОТА

Но как прохладна синь твоих очей,
и тем темней,
чем вижу их я ближе.
Вот ветерок,
ни твой, ни мой, ничей,
коснулся щек.

Спокойно берег лижет
волна морская.
Крашеные губы
еще прохладней,
холодней, чем взгляд.
Когда бы целовал тебя я грубо,
без памяти,
прикосновеньям рад...
Но словно в благодарность я целую,
и еле внятен губ твоих ответ.
Слов избегаем,
слов как будто нет.
Ты-то знаешь все,
о чем молчу я...
Слова любви,
обманемся мы ими,
горячими, пьянящими, чужими.
Охватит и закружит забытье...
Как странно мне —
мое ли слышу имя?
Покажется чужим
тебе — твое.
Короткое, слепое торжество.
И я не тот,
и ты со мной иная...
Известно мне,
кого я вспоминаю.
Кого же вспоминаешь ты?
Кого?

НОЧИ, В КОТОРЫЕ Я НЕ СПАЛ

Вытягивались ночи по земле,
в которые не спал я,
как туннели
гигантские,
и за окном чернели.
И мчался мир назад в кромешной мгле.

Творилось что-то странное со мной.
Туннель все мирозданье,
словно пояс,
охватывал.
Казалось мне: я — поезд
в туннеле этом черном.
Шар земной —
мой пассажир.
Все собралось здесь вместе.
И где-то, на хорошем самом месте, —
страна моя
и огненный мой край.
И есть еще набор желаний полный,
тревоги,
мысли,
и декабрь, и май...
Что там еще?..
Да разве все упомнишь...
Казалось мне: я — тоже пассажир,
и временем подхвачен, как потоком.
Снопами света бодрствующих окон
я прожигаю этот темный мир,
и мысли всюду светлые бужу,

и в комнате при свете их сижу
среди моих несмолкнувших вопросов...

И входит в реку полная луна,
одежду дряхлых туч на берег сбросив.
Туман — стыдливость в том его видна —
глаза деревьям застилает.

Ночи,
которые я провожу без сна,
в мир лучшие из лучших утр приносят.

ЛЮДИ ДАШКЕСАНА

Сумрачны и глубоки,
В дымке тают бездны...
С гор сбегают ручейки,
В каждом —
Отзвук песни.

Склон горы предельно крут!
Встал утес, как исполин,
Даль над ним туманна...
Верят жители равнин:
В небесах седых живут
Люди Дашкесана!

Задыхаясь, самосвал
Лезет в горы...

Перевал!
Грозен каменный карниз!
Но, поднявшись рано,
Едут вверх
И мчатся вниз
Люди Дашкесана.

Полыхает солнца медь...
Здесь на девушек глядеть —
Попросту опасно!
Косы стягивает жгут,
Солнцепадом очи жгут
Даже в день ненастный.

Заглядишься на тропе
И — придется, друг, тебе
Кубарем катиться
До предгорий,
До низин,
Где не знают лютых зим,
Где не мерзнут птицы...

Здесь в горах, где бьет ключом
Жизнь, и солнечен простор,
И снега багряны, —
Только им все нипочем,
Сыновьям и внукам гор,
Людям Дашкесана!..

СИБИРСКИЕ ВОДИТЕЛИ

Скулы обжигает им мороз,
На ресницах серебрится иней.
За баранкой,
В стынущей кабине, —
Сотни верст им отмахать пришлось
По дорогам вязким и неблизким...
Мой поклон водителям сибирским!

Если за столом они сидят,
То конца беседе нет застольной.
Девушки влюбляются в ребят, —
В мире не найти парней достойней!
Мчат они по насту
И по льду.
Светом став,
Летят они сквозь полночь.
Ну, а если кто попал в беду —
Первыми торопятся на помощь.
Хорошо знаком и труд, и риск им...
Мой поклон водителям сибирским!

Здесь,
В тайге,
Трудна любая пядь,
И непросто быть первопроходцем!
Позже всех
Они ложатся спать,
Раньше всех

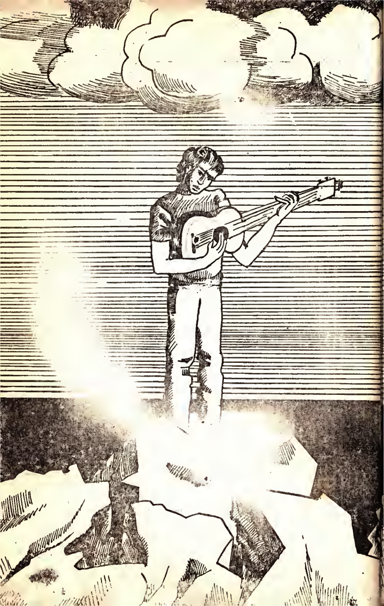
Они встречают солнце...
То ручья таежного излом,
То нежданный росчерк поворота...
А в кабине —
Маленькое фото,
Девичья улыбка под стеклом.
Если вдруг мотор забарахлит, —
Подмигнет он ей,
Вздохнет украдкой.
В бездну ночи со ступени шаткой
Спрыгнет, молчалив и деловит.
И опять клубится снежный прах,
Бронзовеют сосен обелиски...
Труден путь!
Но им — неведом страх,
Молодым водителям сибирским!

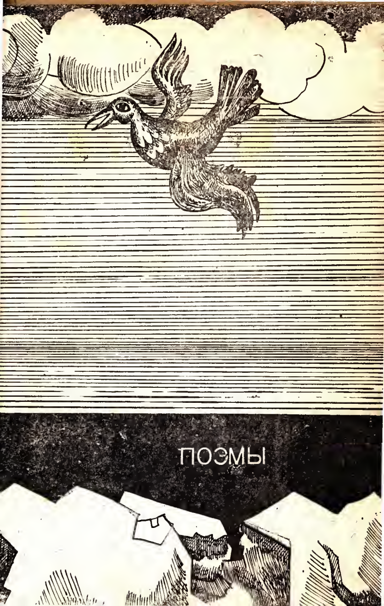
ВЕЧНЫЙ СИМВОЛ

О, этот край,
Что щедро наделил
Тайгой — медведя,
Пастбищем — оленя,
Дал рыбам голубую быстрину,
Которая зовется Енисеем...

О, древняя и юная земля,
Родимым домом
Стала ты для многих!..

Сибирь,
Сибирь!
Ты краше год от года,
Величия России —
Вечный символ.
Долготерпенья русского народа,
Его борьбы и силы —
Вещий символ...




ПОЭМЫ

НАЧИНАЕТСЯ ГНЕВ ГИТАРЫ...

Гитара,
и во сне твои слезы
слышу...
Федерико Гарсиа Лорка

1.

Он жил в далеком Чили.
Певец, мечтатель Хара.
Все, что имел он, — сердце
да верная гитара.
Он пел о звездном взоре
прекрасных чилиянок.
О радости и горе —
обнявшихся лианах.
И сердце билось звонко,
восторженно и юно.
И вторила гитара —
серебряные струны.
Но грезились дороги,
дороги новых песен.
Им тесно в жарком сердце,
и целый мир им тесен.
Пусть песня зашагает
за пыльные кварталы,
на площади Сантьяго,
в неведомые дали.
И вторили гитаре
сердец живые струны.
Сантьяго... Стадион...
Поющие трибуны...
Всю будущую славу,

все молодые силы
отдаст он благодарно
отчизне милой — Чили.

Сантьяго... Стадион...
Угрюмые трибуны.
Где же гитары звон —
серебряные струны?..
Быть может, это сон?
Штыки в глаза сверкнули...
Здесь вместо песен — стон.
Здесь вместо славы — пули.
Здесь странный, страшный матч.
Арбитры — автоматы,
и с микрофонных мачт
вещает смерть команды.
Сантьяго... Стадион —
как тесное корыто.
И застит небосклон
кровавая коррида.
Как разъяренный бык,
бушует хунта слепо.
Ей хуже всех иных —
цвет утреннего неба.
Свободу и закон
пинают пиночеты.
Сантьяго... Стадион...
Двадцатое столетье...
Гиены учат выть,
и жабы учат квакать.
Так быть или не быть?
Бороться или плакать?

У хунты — пулеметы,
у хунты — суд и кара.
У Хары только сердце
да верная гитара.
Когда народу сладко,
когда народу славно,
поэт не очень виден,
живет меж равных равно.
Когда народу больно,
когда народу тошно,
молчать поэт не вправе,
молчанье невозможно.
У хунты пулеметы...
Запомни это, Хара!
Не хочет прятать песню
и ждать рассвета Хара!
Свистят повсюду пули.
Святые прячут лики.
Кричат на перекрестках
пылающие книги.
Кричат слова из пепла,
кричат из праха: «Люди!»
Пылающие строки —
последний стон Неруды.
И видит с болью Хара
кошмарными ночами:
с плеч головы слетают
кровавыми мячами.
Приснилась вдруг гитара —
вся в ранах ножевых...
Проснулся утром Хара —
застал себя в живых.

«Вставай, — твердит гитара, —
и бей в набат, певец.
Молчанье — хуже кары,
молчание — конец.
Твои друзья на плахе,
твоя страна в беде.
Забудь, певец, о страхе.
Надежду сей везде.
Твою свободу душат,
Тебе ль о том не знать!
Все слышать, но не слушать!
Все видеть, но молчать?..»

2.

Начинается плач гитары,
О, не жди от нее
молчанья...

Федерико Гарсиа Лорка

Не плачь, моя гитара,
не плачь, моя душа!..
И взял гитару Хара,
настроил не спеша...
Расстрелянный Сантьяго...
Кровавые следы...
Гитара, как присяга,
зовет его: иди!
А стадиона чаша —
один огромный рот,
разодранный, кричащий,
орущий в небосвод.

От залпов и проклятий
оглохший стадион.
Молчит Христос распятый.
Молчит и он, и он...
Но вот во тьме студеной,
в глуши трибунных круч,
в утробе стадиона
мерцает песня-луч.
Светлеют души, лица,
и губы вторят ей.
Взмывает песня-птица
вольней, слышней, больней.
Взмывает из безвестья,
несется в вышине
предвестницей возмездья
коричневой весне.

Не страшны никакие муки,
не страшны никакие кары,
обнимаются струны и руки,
начинается плач гитары.
О, не жди от нее
молчанья!..
В мире подлости и мельчанья,
в мире ярости и отчаянья
начинается плач гитары...
Затыкают рот удары,
затекает глаз у Хары,
затихает голос, но снова
начинается плач гитары.
Оборвали песню приклады,
обрубили руки гады.

Губы мертвые шлют проклятья...
Начинается плач гитары.
Из разбитого рта стадиона
песня льется в небо синее.
И подхватывают песню ветры
на крыло свое голубиное.
Всполошилась тупая охрана,
вне себя палачей камарилья.
Только песню не растерзать им,
кондорам с душой комариной.
...Бездыханное тело
качается.
И гитара на мертвой груди.
Не кончается, не кончается
песня в небе. Песня — в пути!
Ибо крыльев не отрубить ей,
не сдавить ей горла в петле.
Нерасстрелянной, неубитой
ходит песня по отчей земле.
И звучат, как набата удары,
переборы убитой гитары.
И быком разъяренным хунта
мечется по арене позора.
Но сверкнет из-за алой мулеты
ярость грозного матадора!
Словно порохом, начиняется
сердце Чили песнями Хары,
начинаются в каждом Гевары,
начинаются в каждом Альенде,
начинается, начинается,
начинается гнев гитары!

ЗЕМНОЕ ПРИТЯЖЕНИЕ

Вступление

Многострадальные дети — Дедал и Икар...
Первые люди — ласточки Неба...

Вам и не снились мифы такие...
Небо кромсают крылатым металлом.
В Небе летают железные птицы,
Небо обшарено вдоль, поперек,
Небо — не Небо, а только порог...

Что там древние, —
древние — дети.
Диву даются
живые деды:
— Что же на свете
на белом делается!
На небе, господи,
люди селятся!..

Вы не тревожьтесь.
Земля — вся та же.
Солнце — все то же,
ни ближе, ни дальше.
Шли до Двадцатого,
канули в Лету
эти предстартовые
тысячелетья!
Тысячелетья к Небу взывали мы,
тысячелетья в Небо взирали мы,

тысячелетья к Небу примеривались,
ломая айсберги воображенья,
круша столбы пограничные Неба,
чтобы потом, над всеми веками и вехами,
крикнуть:
— Поехали!..

Дедал и Икар...
Плавится воск ваших крыльев под солнцем
палящим.
Рушится мост между Небом и тихой Землей.
Дети наивного века с сердцем парящим,
гении снов человечества, ставших золой...

Я расскажу вам о детях Двадцатого века.

Наш век

Сложнейший,
нежнейший,
лютейший,
люднейший...
Век, выходящий из ряда вон,
чьи вехи и меты в вечность вольются.
Век величайшей из войн
и величайшей из революций.
Век, первый по жертвам во всей истории,
век, строящий танки и обсерватории.
Здесь — Разум, постигший материи тайны.
Там — шепчет онколог в бессильи:
«Летальный...»
Кто — на орбите, не ведая тяжести,
кто — на арбе, не сетуя, тащится...

Тут — в химикатах — слезой соловей
заливается.
Там в соловьиную честь соловьем
заливаются.
Тут человека аж в колбе выращивают.
Там мегатонные смерти вынашивают.
Век — за столетья пророком загадывающий.
Век — в даль заглядывающий,
сеющий, пашущий,
плачущий, пляшущий,
нищий, зажиточный, всем начиняющийся,
звездной дорогой в миры начинающийся.

Ракетные базы — глобальные спички,
страхов гостиные.
Космодромы — гнезда землян аистиные...
То и другое —
детища века,
боль и величие Человека.
Дивлюсь его Разуму,
дивлюсь ему — разному.
Кому хлеба не жаль —
голодающим,
холодающим.
Кого — хлебом не корми,
дай на кушанье
мясо пушечное...
Посмотришь — люди,
тот и другой.
Каждый — с сердцем,
каждый — с головой.
Словом, сходная анатомия...

Да не о том я...
Матерь Земля, мы покуда
сами себе порадеем.
С тем на тебе оборудовали
психолечебницы
и академии.
Есть еще страны,
— вот удивительно —
психи — у власти,
умный — в смирительной.

Это не страны, —
страноподобие.
Но рано ли, поздно ли
в страны потопают...

Детские вопросы

Говорят,
устранив за изъяном изъян,
вышли мы из праобезьян,
и, прогресс торопя,
мы себя обратили в себя.
Обожали мы сами себя,
обижали мы сами себя,
Добывали из мрака — себя,
добивали на плахе — себя...
Как же так получается —
обезьяны в людей превращаются.
Ну, а «люди» в людей —
не случается?

Превращение прекращается...
Может, мы — это вовсе не мы,
не из древней и медленной тьмы,
а пришельцы с далеких планет,
где остался нечаянный след?
Потому ли взираем века
мы на них из земного окна?
(Не взыщите, ученый народ,
за такой ненаучный подход...)

Границы

Вселенная — дерево.
С гроздьями-звездами.
Человеку до них дотянуться хочется,
облететь их космическими верстами,
называть их по имени-отчеству.
Если цели большой не видится,
это пахнет большою ссорою.
Тому слова не дашь — обидится,
а тому подавай — территорию...
Земля рубцами исполосована:
не бередите раны границ!
Небо к земле приплюсовано, —
синяя родина солнца и птиц.

Границы вьющиеся...
В карте запутаешься!
Придет смеющееся
будущее!
Ему, лобастому,

в глаза бросится
наша глобальная
чересполосица.
«Зачем друг от друга
предки шарахались?
Выгиб — попятились,
выступ — замахивались...
Пусть разные обликом
и названьями,
пусть даже предки
были динозаврами, —
зачем между странами
древне-древнейшими
эти странные
пропасти-трещины?»

Два притяжения

Полет в космосе —
вызов косности!
От пут приземленности
в миры изумленности!
Полет — это
высь понимания.
Внизу — планета,
воспоминания.
Есть притяжение
лжи и происков,
есть притяжение
неба поисков!
Дальность странствия

очистительна.
Мерки земные —
недействительны!
Хоть незнакомому,
Хоть безымянному, —
здесь землянин
брат землянину.
Здесь пахнет больнее
Землей, Отечеством.
Здесь пахнет Человек
Человечеством!
Ложь недействительна.
Доверие — подлинно.
Живому живой
здесь — как родина.
Нет на орбите
слякоти века.
Вдыхаешь, как воздух,
зов человека.
Не променяешь
за все вселенные
глаза человеческие —
звезды бесценные!
Есть гравитация
неодолимая:
Родина...
мама...
любимая...
Есть гравитация
нашей памяти, —
ее, упрямую,
не переупрямите!

Даже звоны зияющих бездн,
миров притяжение —
это зовы Земли,
ее притяжение...
Вне притяжения этого
жизнь прекращается.
Вне притяжения этого
небо кончается.
Нет возвышения.
Нет возвращения.
Нет прощения.
Только — прощание...

Реплика из зала

Эх, вот бы махнуть на другую планету!..
Стучится к нам старость — а нас дома нету...
Мы — старше на год,
планета — на́ сто.
Потом — на готовенькое...
Вот я, здрасте!..
(Годы прошли продолжительные.
Люди кругом — положительные).
Вот вам и паспорт. Тут, на планете,
мы проживали в таком-то столетье.

Ответ потомков

Век твой вышел, отвековал.
Отбедовал, отликовал.
Бросил не Век, а себя, человек,
Там не хватает тебя, человек.

Век твой, лишенный дум твоих, дел,
раньше на целую жизнь постарел,
целую жизнь задолжал векам.
Место твое пустует — там...
Время — не поле, — перекочевать,
здесь — дневать, а там — ночевать.
Не отзовется ничья душа,
из давнего века к тебе спеша.
Ты ни жилец, ни мертвец: без души.
Так возвращайся... Ищи-свищи...

Здравствуй, Гагарин!

Здравствуй, Гагарин,
здравствуй, ровесник мой.
Мы породнились
страной и судьбой.
Слышали стоны чинар и берез.
Рано познали вкус папирос,
мужчинами стать мы хотели скорей,
греясь под лаской скупой матерей.
Мужчин не хватало земле.
И земля — словно женщина.
Коснется мужская рука —
она молодее, щедрее...
Тогда
мужчины пахали штыками ее,
и сеяли гнев,
пожиная смертельный посев...
Мы смотрели кино про войну,
отправлялись во сне воевать,
и в каком-то бою, в непонятном краю

встречались нежданно с отцом,
всю войну прошагавшим пешком.
И отец прижимался колючей щекой
к детской — еще покрытой пушком.
«Вот как вымахал, сын мой, сынок...»
И будил нас застрявший в горле комок.
Годы шли. Улетучились сны.
Облетали не раз тополя.
И уже нам малы и тесны
Прошлогодняя куртка...
Деревня...
Земля...
Мы печатали тверже шаги,
устремляясь к дали весенней...
Я не первый на свете поэт,
ты же — первый Поэт вселенной...
Я подумал, что, если ты
взмыл бы в небо, войной бушующее,
может, замерли все бы фронты,
пред тобою — посланником будущего...
Опустились бы дула орудий,
опустели б окопы планеты,
осознали бы люди —
опоздали они воевать на столетье...

В чайхане

У нас в селенье
был Иси-киши.
Думал о вселенной
в своей тиши.
«Полет Гагарина».

Прочел. Каково!..
Со лба испарину
стер рукавом:
— Что-то не верится...
Оторопели мы:
— Вот же, в газете,
черным по белому.
— Да не о том я,
что вранье.
Просто не верю.
Вот и все.
На возражения
старик осерчал.
Протезной ногою
к двери застучал.
— Ладно... Куда мне
кумекать... Эх...
Дайте спокойно
дожить век...
Потом разошелся
Шами-пастух:
— Вот это здорово!
Захватывает дух!
Сам я — по небу,
стадо — по полю.
Кончил дело —
домой топаю.
Третий — пахарь:
— Вот бы с ним
поле засеять...
махом одним...
Вы только представьте:

сколько земли...
Ну, председатель,
теперь пили...
Спорят — каждый
неумолим.
Слушал молча
Али-муаллим.
Свернул цигарку,
самосад — класс!
Когда-то в школе
учил он нас.
Сделал затяжку
старик сперва,
вместе с дымом
выдохнул слова:
— Я сам бы за парту,
да больно стар.
Переменился
земной шар.

Взлет

Внимание!
Три... Два... Один... Пуск!
Неторной дорогой, без мет и без вех,
отринув каноны, летит Человек
в далекий канун свой,
в младенческий век.
Ступени, сгорая,
листают века.
Полет ускоряя,
истают века...

И вот — невесомость! И ты — как дитя —
несешь невесомое сердце, летя.
Летишь, как пушинка, ни уз, ни обуз,
не давит на плечи обыденный груз...
Давай же, как в детстве, во сне, воспарим!
Иль сон невесомости неповторим?..
Так что же, товарищ ты мой, погрустнел?
Витать в облаках перестал, — погрузнел...
Немало с тех пор воды утекло,
немало земного на плечи легло,
ненужных и нужных
забот и работ,
духовная пища — в палатах ума,
и бременем стала совесть сама,
усталости тонны на каждом крыле,
бескрылость тебя приковала к земле...
И все же, и все же вина — не в судьбе...
Давай-ка вернемся с повинной к себе,
вернемся к лучистому берегу сна,
и душу, и память очистим до дна,
туда, где по тропам заветной звезды
бегут босоногие малыши,
к невесомости чистоты,
начинающейся с души!

Запах земли

В нашем селе нет Останкинской башни,
нет небоскребов оглушительных.
Есть просто небо, просто пашни
и просто жители.

Есть сборщицы хлопка в селенье,
встающие раньше зари,
и нет у них боли сильнее,
чем боль хлопковой земли.
Есть матери тех космонавтов,
которых узнаем потом.
Есть пахари — если по правде,
спина — что твой космодром...

Первые крылья — ветряк,
что на семи ветрах,
первое колесо — арба,
с пешей судьбой борьба,
прогромыхавшая встарь
нашим и вашим селом,
чтоб прикатить потом
на космодром.
Небоскребы — внуки изб,
переехавшие в города.
Небоскребы не смотрят вниз:
видно, кружится голова...
Этажами взмывают ввысь,
опираясь ногами в твердь.
Даже в камне слышится мысль:
распахнуть облака, как дверь.
Жажда неба, начавшись с земли,
превращается в корабли,
и какой бы ни ждал причал,
в них узнают начало начал,
запах хлеба, травы, жилья:
«Это дети планеты Земля!..»

102—10

«Союз»—«Аполлон»

Шар земной стиснут обручами
меридианов и параллелей.
Шар земной хочет полною грудью дышать.
Поднимаются космические каравеллы —
эти обручи разжать.
Над планетой циклоны нахмуренные...
Горизонт опален...
Разговаривают на высшем уровне
«Союз»—«Аполлон» .
Человечный этаж политики.
Жить бы в этом измерении,
безо всякого приземления,
меря высью орбитальною
даль планеты обитаемой...
...Но приходит, как изумление,
неизбежное приземление,
и земля, дорогая, большая,
к тебе жмется щекой полушария,
дрогнув бровью — крылом голубиным,
и ты слышишь чувством глубинным
замолчавшее сердце Неруды,
где казнили неспетое чудо,
и гитарою кажется Чили, —
той, что танками раздавили...
Стиснет болью тебя притяжение,
притяжение — причащения!
Кто-то скажет тебе — не вмешивайся...
Это дело, дескать, внутреннее.
Как же? Если расстреливают, вешают
песни, звезды, солнце утреннее?..

Созидает рука человеческая,
льется кровь сквозь века — человеческая...

Навострили уши антенн локаторы,
в океанских глубинах ползут субмарины
покатые,
и ракеты застыли по первой готовности...

Космонавты к полетам готовятся.

Постскриптум

Я готовлюсь к полету и сам, —
к неоткрытым еще небесам,
к небу песен, сказаний и хлеба.
И Земля — мое главное Небо!

ПИСЬМО БЕЗ АДРЕСА[1]

Мы способны дорожить ценностью его примера, и мы абсолютно убеждены, что этот пример будет служить образцом для подражания.

Из речи Фиделя Кастро на торжественном митинге памяти Эрнесто Че Гевары 18 октября 1967 года.

Биография

(Вместо пролога)

Родился в Аргентине.
Жил в Мексике.
Делал революцию на Кубе.
Погиб в Боливии
тридцати лет от роду.

1.

Я один.
Дым сигареты.
Холод безнадежности.
И тепло остывших воспоминаний.

2.

Ты — память, которую должен
по крохам я собрать,

[1] Эрнесто Че Гевара посылал из Боливии письма без обратного адреса.

шагая сквозь времени толщу,
товарищ, друг, собрат.
Печалясь, гордясь, негодуя,
семь лет неотступно иду я
к тебе сквозь незнанье свое,
сквозь правду, молчанье, вранье...
Рождаясь, живя, умирая
с тобою в далекой дали,
семь лет я тебя собираю
по памяти старой земли,
по пулям, по ранам, по песням,
по видевшим шаг твой глазам,
по высям, по звездам, по безднам,
по звавшим тебя голосам...
Восстань же из праха и тлена,
из тьмы онемевших ночей,
шагни из смертельного плена
к живым, товарищ Че!

Как в нас воскресают другие,
так мы умираем в других,
слагаем черты дорогие,
чтоб мертвые жили в живых.

3.

Сочится ночь по капле,
по капле сочится ночь.
Думы мои ослабли,
думам моим невмочь.
Воображенье стынет,
и застит глаза мне туман...

Плутает по пустыне
усталых дум караван.
В мыслях запутываются
завтра,
сегодня,
вчера,
то, что не забудется,
то, что забыть пора.
Но это мне запомнится,
наверное, навек:
вижу, в моей комнате —
человек.
Я не заметил времени,
когда он присел на стул,
как от вселенского бремени,
плечи согнул, сутул.
Словно таким и родился он,
вросший ногами в твердь,
словно куда-то двигался
через
вчерашнюю
смерть.
Я ничего не спрашиваю —
не до праздных речей!
И думать не отваживаюсь:
«Кто? Неужели?.. Че?..»
Мнусь нерешительно.
Как же она длинна,
эта оглушительная
тишина!
Дольше такого молчания
выдержать не смогу.

Сердце отчаянно
колотится, как на бегу, —
словно воздуха нету,
это не сон, а факт,
словно вдруг всю планету
стиснул
инфаркт.
Тиски молчаливые
из сердца выжали стон:
— На что тебе эта Боливия?..
Зачем было лезть на рожон? —
Он смотрит долго и пристально.
Речь по-испански быстра:
— Говорят, что издали
кажется легкой игра.
Оно, конечно, выгодней
глядеть со стороны.
И если дело не выгорит,
то нету твоей вины.
— Ты знал хорошо: свобода —
не куш, не дар, не пай,
в кулак напихал — вот она,
носи по стране, раздавай!
Свободу нельзя на экспорт.
В этом резона нет.
Мрак не пускается в бегство,
если от спички свет.
Жаждущей чахлой пустыне
нужна ведь не капля, а дождь.
Истины эти простые
ты знал хорошо... так что ж...
— Ты хочешь сказать — не выстояли?..

Свобода созреть на смогла
Легко изрекать истины,
трудно делать дела.
Разные правды на свете...
Много лжеправд, полуправд.
Правда моя — эта:
«Смертию смерть поправ...»
Можно иначе — от астмы...
В ласке, тепле... как в раю...
Но умираем раз мы,
значит: надо — в бою!
Ради правды смело
жертвуйте собой!
Это не гибель — дело!
Вызов.
Удар.
Бой.
— Может, лучше бы выждать,
чтобы — наверняка!..
Может, лучше бы выжить,
пока не черед, пока...
— Рабство тебе незнакомо,
в свободной живешь стране.
Я видел когти законов,
свободу — только во сне.
Подростком на велосипеде
Америку исколесил,
видел всякие беды,
вынести не было сил...
— Мир молодым покинуть?
В годы твои умереть?
— Кто-то ведь должен погибнуть,

так было,
так будет впредь.
Думаешь, годы несметны,
их можно держать про запас?
— Как же... слава... бессмертье?
— Я — это каждый из вас!
Снова в майорском чине
в руки оружье беру.
Я партизаню в Чили,
я митингую в Перу.
Я в Аргентине врачую
больную страну мою,
в джунглях далеких ночую
и боливийцам пою.
С Кубой шагаю на сафру,
спешу на карнавал.
Я — это ваше завтра...

Он замолчал:

На языке безмолвия
договорили мы,
и вспыхивали, как молнии,
глаза его из тьмы.
Наша немая беседа
напоминала реку.
Я остался на этом,
он — на другом берегу...

Шлялся под окнами ветер
и бормотал свое.
Тронуло сонные веки

теплое забытье...
Снова часы затикали —
время тащилось прочь,
Снова сочилась тихая
ночь.
Он был на свете светом —
не умирает свет.
Свободы был поэтом —
поэту смерти нет.
Был океанским валом,
разбившимся о риф,
вал возвратится к скалам,
свой прилив повторив.
Угас закатным солнцем —
но будет вновь восход,
и солнцем переполнится
завтрашний небосвод.

4.

На Кубе, в отеле «Гавана либре», я встретился с сестрою Че. Ее зовут Анна-Мария. Усталое, озабоченное лицо. В глубоко запавших черных больших глазах — затаенная боль, решительность. Темные круги под глазами говорили о болезни. Я попросил ее через переводчицу рассказать о своем брате. Она взяла сигарету. Закурила. Вскинула испытующий взгляд: «Могу ли я доверить тебе свою сокровенную боль, свою ненависть и любовь? Поймешь ли ты меня?»

Что рассказать о брате?
В детстве далеком моем
снились мне сказки и платья,
а он мечтал о другом.
Был он серьезней и старше,
я же девчонкой была.
Звали его бесстрашные
взрослые дела.
Может, спеша на свиданье,
не ведала я о том,
что в эти минуты тайные
брат мой схватился с врагом.
Может, я млела в ласках
нежной моей любви,
он же на тропах опасных
захлебывался в крови.
Стала женою и матерью,
видите — жизнь проста...
Я для всех, понимаете,
только героя сестра.
Впрочем, какая сестра я,
какая сестра ему,
если жила я, не зная,
как он прожил, сгорая,
как он ушел во тьму...
Может, в той кромешности
яростных дней и ночей
ему не хватило нежности
единственной —
моей?
Может, в бою неистовом,
до смертного конца,

ему не хватило единственного
слова,
патрона,
бойца?..
Может, когда соперницей
к славе подкралась беда,
я грудью кормила первенца,
пеленки стирала тогда...
Можно придумать разное,
тысячу разных причин.
Но оправданье напрасно!
Он смотрит со стен, с витрин...
Мне достаются почести,
меня возвышает родство,
только делить не хочется
честную славу его.
Ты за героя горой стой,
когда придет пора!
С героем родство не геройство,
сын ли, брат ли, сестра...

Родство меня обязывало
беречь не себя — его...
Кто раны ему перевязывал,
с ним доказал родство.
Скала, отразившая пулю,
дерево, камень, трава,
с ним пережившие бурю,
взяли родства права.
Каждый, с ним насмерть стоявший,
встречавший свинцовый град,
тот ему настоящий,

тот настоящий брат!
Вспомни Адама и Еву,
еще — и родней назови!
Есть только родство по гневу,
по ненависти и любви...

5.

Земля чудная,
Куба моя...
Америка — судно.
Куба — маяк...
Овеян легендами
над континентом
взмывший стяг.
Подвигов невоспетых,
славы твоей
хватило бы поэтам
планеты всей:
Куба — это
в огнях побед
Нового Света
новый свет!
Красной свободы
первая строка
в синие воды
вписана на века.

6.

Снова Кубы
мерю пространства,
снова губы
шепчут: «Здравствуй!»

Горы выставили
цветы поярусно,
краски неистовы,
солнце яростно.
Ветер музыкой
льется ласковой,
сердца союзник,
грезящий плясками.
Лица смуглые,
взоры — звездами,
страстью обугленное
небо в роздыми.
Деревья-деревушки,
чинару к вам бы...
В грации девушек —
ритмы самбы.
Пальмы кокосовые
вытянулись в рост,
зелеными косами
касаются звезд,
кровью пламенной
скалы залиты́,
из раны каменной
брызнули цветы.
Можно неосторожно
вспугнуть красоту.
Был бы художником —
сразу к холсту.
Я в мире сказочном —
дитя дитем.
Игрушки красочные
рассыпаны кругом...

7.

После тяжелых, изнурительных боев раненого, потерявшего сознание Че взяли в плен. Он предстал перед высшими военными чинами. Среди вояк, рассказывают, был и молодой лейтенант. Его глаза, похожие на бутылочные осколки, лихорадочно блестели.

Воцарилось молчание. Лейтенант впился в Че бутылочным взглядом, выражавшим удивление и... зависть. Лейтенанту не повезло. Почему не он взял Че в плен? Упустить такую возможность! Такой короткий путь к славе! Он, лейтенант, и сам не лыком шит. Чем он хуже других? Чем он хуже этого самого Че Гева́ры?

— Дальнейшее молчание бессмысленно,— сказал один из генералов. — Ты — Че! Не так ли?

Пленник вскинул голову. Взгляд его больших темных глаз устремился поверх голов куда-то вдаль. Иссохшие, непослушные губы еле зашевелились. С них слетело хриплое:

— Кончайте.

Вояки переглянулись. Допрашивающий чин вздохнул как бы с облегчением.

— Покажи, на что ты способен! — Лейтенант бросил взгляд на свою винтовку. — Вот этим штыком я сейчас проткну твое сердце, Че, и выну из него половину твоей славы.

Впредь мое имя будут упоминать наравне с твоим.

В мгновение ока он метнулся к пленнику... Че рухнул. Бутылочные осколки сверкали дико и злобно. Вояки молчали. Один из них, старый седой генерал, потупился, делая вид, что разбирает бумаги... Через три дня молодой лейтенант был найден мертвым.

— Была ли мама у тебя?
Баюкала в тиши?
Все шалости твои терпя,
терзалась ли, скажи?
Занозишь пальчик — ей слеза
туманила ль глаза?
Тобой, вчерашний егоза,
гордилась ли, скажи?
Скажи-ка, бравый лейтенант,
ей сердце не заледенят
кровавый штык и дикий взгляд?
Скажи, палач, скажи!

Голос лейтенанта боливийской армии:

— Я не подкидыш, ваша честь,
я не наймит — боец.
Мать у меня, так точно, есть
и, значит, есть отец...
Хотели, чтоб я стал герой,
а не такой, как все,
чтобы увидел род людской

себя в моем лице...
И почему не мы, а он
прикончить должен нас?
Ведь есть порядок, есть закон,
в конце концов — приказ.
Да что молоть тут языком!
Он красный — значит, враг.
А я его вот так штыком,
штыком его — вот так!
Держался, правда, черт возьми!
Таких я не видал.
Не сник пред нашими людьми.
Учтив был генерал.
От взгляда этих-то чинов
меня бросает в дрожь.
А он, гляди, каков —
не ставит их ни в грош.
Он враг законов наших, он
законы чтить отвык.
А чей закон, какой закон —
ему ответил штык...

— Закон — одежда государства.
Бывает — не тот покрой.
Бывает — шитье не удастся.
Бывает — не тот портной.
Это замечают немногие,
такие, как Че.
Тогда рядятся убогие
портные в палачей.
Бунтарь призывает к ответу их
на благо родной земли.

Встают на пути одетые
и голые короли.
Бунтарь призывает: родина,
скинь же обузу тряпья!
Встают на пути юродивые,
слепцы вроде тебя.

Голос лейтенанта боливийской армии:

— Одежда у́же или шире —
это не моя вина.
На государственном мундире
я только пуговка одна.
Я только ворсик, нитка только,
а слеп не слеп и глуп не глуп —
меня не трогает нисколько.
Я просто винтик,
я — шуруп.
Шуруп шурупить не обязан
своей железною башкой.
Сорвете пуговицу с мясом —
заменят, видимо, другой.
А если выкинут однажды
мундир потрепанный, как хлам,
то крышка пуговице каждой
и, значит, крышка тут и нам.
Одежда уже или шире,
моя забота — в петлю влезть.
Я защищаю честь мундира,
а, значит, пуговичью честь.
Окончил я свой век мундирный,
теперь... осмелюсь доложить,

я буду в памяти всемирной
с мундироподданными жить,
Вот вы слагаете поэму
о том, кого я заколол,
но я пробрался в вашу тему,
приобретая ореол.
— Мертвые сраму не имут,
если живые мертвы.
Имя твое отринет
ропот земной молвы.
Имя твое — отрава
в памяти нашей земли,
твоя геростратова слава
сгинет в грязи и пыли.
Нащупывая новые вехи,
бушует двадцатый век.
Пребудет планета навеки,
пребудет Человек!
Восстанут сегодня и завтра
тысячи новых Че,
солдаты добра и правды,
с оружием на плече!

Биография

(Вместо эпилога)

Родился он снова — в Чили.
Бронзовый, с автоматом в руке.
Первым сразился с хунтой,

СЕМНАДЦАТАЯ ПАРАЛЛЕЛЬ

Эта узкая полоса
от океана до Китая,
этот жгучий клочок
Индокитая
тридцать мучительных лет
жил, покоя не зная,
кровью истекая,
тридцать лет
терзала смерть
осатанело
земли искореженное тело.
Тридцать лет
длилась мука адовая.
Тридцать лет
колючая проволока
распиливала это тело надвое.
Распиливали
сердца и глаза,
распиливали,
раскалывали,
распарывали.
Смерть кромсала
крейсерами,
витала истребителями
над школами,
над обителями.
Гибли хрупкие девочки-бабочки
под многотонными бомбами.
Кишел Сайгон
усатыми «боннами».

Америка
ощеривалась,
раскошеливалась.
Детям — резинка жевательная,
Юнцам — гёрлс блондинистые.
А тем, кто противится —
дубинка резиновая.
Одна страна
двурежимная.
Одна страна —
разная цель.
Колючей проволокой
ее рассекла
семнадцатая параллель.

* * *

В Сайгоне (ныне город Хошимин) на выставке «Зверства империалистов» была фотография десятилетнего мальчика в обличье заправского вояки: каска, автомат, сапоги. Этот мальчик убил свою учительницу и свою мать.

Так что же есть страшнейшее оружье?
Наиновейшее,
современное
преследует цели
неизменные:
Вооруженное нападение —
увертюра дикая.

Вслед за громкой политикой
приходит тихая.
Приходит с улыбочкой.
Приходит на цыпочках.
Не косит пулями,
а точит пилюлями.

Хлынула б ливнем, потопом, лавой —
нашлась бы управа.
По капле сочится отрава.
В души вползает — тихая,
душу саму выпихивая.
Это-то самое страшное.
Когда, зубами скрипя,
встают твои сограждане
против самих себя...
Об этой беде больно
народу говорить.
А враг, с ухмылкой довольной,
со стороны глядит
на эту «веселую» драму.
В страхе вставай, ложись...
Мальчик убил маму.
Мальчик убил жизнь.
Его учили скромности,
а он продолжал свинеть.
А он — исчадие комиксов —
в учительницу свинец.
Вот она — тихая, наглая,
калечит души, мозги.
Янки напяливают на ноги
Сайгон, как сапоги.

Родина для вьетнамца,
для них — аттракцион.
Мальчик, убивший маму,
сопливый палач... О, нет!
Исчадие тихой, той самой...
зачинщицы громких бед.
Мальчик, убивший маму,—
Белого дома плод,
взращенный во Вьетнаме
ценою кровавых «забот».
Мальчик — не мальчик, исчадье,
самый модерный урод,
черным насильем зачатый
в черной утробе невзгод.

* * *

Сегодня страна Хо Ши Мина
вступает на мирный порог.
Но дети такие, как мина,
таятся еще у дорог.

Они — незажившие раны,
увечья земли золотой.
О них забывать еще рано,
еще их лечить добротой.

* * *

Жил в Южном Вьетнаме подросток по имени Ли Вим Там. И он любил игры, песни, любил цветы и весну. Неподалеку от их дома располагался американский склад бое-

припасов. Партизаны не могли подобраться к нему. Только ребятня, игравшая на околице, не вызывала подозрений у янки. И Ли Вим Там решился... Он пропитал рубаху бензином, поджег себя и, как пылающий факел, бросился в открытое окно склада...

Сейчас в Доме пионеров стоит его изваяние, и из тела исторгается пламя... Там стал Вечным огнем свободы и единства своей Родины...

Страшнейшее оружье —
ненависть.
Грози Америке
беда —
сжег бы себя юный
Кеннеди?
А может быть, нет.
А может, да.
Разные люди.
Разные ценности.

Но как же так получается,
что даже дети против врага
ополчаются...
Что же ты делаешь,
мир незадачливый?
Мир
в границы
ударился.

Все разграничено:
дачи, кварталы,
государства.

Страны
границами
ощетинились,
высятся башни
и крепости,
в своей молчаливой
свирепости.

Люди с этой стороны,
люди — с другой.
Так от кого защищаешься,
землянин дорогой?
Когда же земля человечества
станет землянам отечеством?
Не высовывайтесь,
не вылезайте —
это ли высшая цивилизация?..
Делит колючая проволока
дерево,
ветер
и облако.
Море — тоже территория.
Может, и волны по отдельности?
Для обеспечения цельности...
Каждое дерево — родина,
разные дуют ветры...
Но не меняют подданства
дерева граждане — ветви.

* * *

Человек
куда моложе
матери-природы.
Еще, в сущности,
дитя иль подросток.
Но верю, пройдут
стремительные годы —
он побывает на дальних звездах.
Вернется к Земле —
к дружной своей семье.
И прижмется
к груди
матери-планеты,
не боясь уколоться
о колючие сети.

* * *

Он лежал на циновке
в прохладной тени у дороги,
под пальмой,
тот мальчик пламенный.
Как сад, тронутый осенью,
он был под весеннею просинью.

Мальчик,
себя приговоривший к смерти...
мальчик
невинный,
и мухи не обидевший,

жизнь —
любивший,
смерть —
ненавидевший.

Рядом —
склад боеприпасов.
Логово смерти
безобразное.
Думает Ли Вим Там:
слезы и кровь,
разрушенный кров,
горящие леса.
Думает Там:
Там... там
смерть распихана по углам,
слезы, пока не пролитые,
люди, пока не убитые,
дома, еще населенные,
леса, еще зеленые...

Сердце колотится бешено.
Сердце взывает: возмездие!
Небо родное увешано
теплым созвездием.
Сердце, постой, выдержи.
Ночью — не надо, сердце...
Бедное юное тело,
какая тебе разница —
сгореть или... от свинца?..
Нет у Тама матери,
нет у Тама отца.

Прячется в темени склад,
смерть источающий гад.
Дремлет в ночи осьминогом,
щупальца врастопыр,
вытянул по дорогам, —
пожйву раздобыть...
Смотрит на небо Там.
Звездная блещет пыльца.
Нет у Тама матери.
Нет у Тама отца.
Пальма шатром нависла.
И, задыхаясь от слез,
он холодеет при мысли:
завтра не будет звезд.
Пальма старше деда.
Пальма стоит во весь рост.
Сердце сверлит это:
завтра не будет звезд.
Я мог бы вчера, раньше...
Я выгадал эту ночь.
Не страшно погибнуть, страшно
Себя не превозмочь.

Не стоят, наверно, и доллара
пятнадцать моих годов.
Допустим, я еще долго —
влачить эту жизнь готов.

Влачить эту жизнь, как шкуру,
влачить до последнего дня,
и дни моего позора
будут топтать меня.

И ползать, и ползать, и ползать...
А рядом — в крови страна.
Какая от этого польза?
Кому моя жизнь нужна?
Живи и глазами хлопай,
а рядом — гнездится беда,
еще не успевшая бомбой
упасть на мои города.

Под этою старою пальмой
мечтал, что любовь найду.
Но черное пламя напалма
убило мою мечту.

Меня призывает совесть,
все горе моей земли.
К последнему мигу готовясь,
на звезды смотрит Ли.

А звезды звенят серебристо,
и пальмы застывшая тень —
подобие сказочной птицы,
готовой внезапно взлететь.
С журчаньем река несется...
И вестником нового дня
взойдет равнодушное солнце,
как странно, появится солнце —
но больше не будет меня.

* * *

Пятнадцатилетний мальчик
пылающим факелом стал.
Пятнадцатилетний мальчик

взошел на пьедестал.
Кто-то шепнул:
— Партизан...
Кто-то воскликнул:
— Герой!..
Кто-то вздохнул:
— Бедняга...
Кто-то заплакал:
— Дитя...

Мальчик ворвался в темень,
сердцем своим светя.
Он обратил себя в факел
в детской надежде святой —
может, прозреет око
этой планеты седой,
может, прибавится света
этой ослепшей земле, —
мальчик, не знавший улыбки,
мальчик в далеком селе.
Каждое утро встает он,
с солнцем встает наравне,
пятнадцатилетний навеки
во взорванной тишине.
Всюду, где рвутся снаряды,
всюду — вблизи, вдали —
мальчик пылает, как факел,
мальчик по имени Ли.

* * *

Еще от ран-воронок
земля горяча.

Еще солдат винтовку
не снял с плеча.
Еще на пашнях истерзанных
не закипела страда.
Еще лечи дороги,
лечи города.
Еще ищи мины,
обломки раскидай...
Еще у границы —
Китай...
Земля безгласая,
по ней — обухом.
Растет эскалация,
как опухоль.
Кровью окрашивается
Земли лицо.
За что, спрашивается?
За что?.. За что?..
Земля — территория.
Родина, кров.
Память, История.
За что — в кровь?..
Земли хватит тебе, семье.
Нет же, как скатерть,
каждый — к себе...
Пашет и сеет Вьетнам
— одной рукой,
винтовку держит в другой.
Хочется обеими — за плуг,
за станок.
Только не срок...

Столько долгих годов,
ночи и дни,
Одной рукой — стреляй,
другою — сей и паши.
Одной рукой качай
ночами колыбель,
Другой — по сигналу тревоги
ты надевай шинель.
Полсердца — гнев и ярость,
полсердца — боль, беда.
Полжизни — еще не старость,
а голова — седа.
Где-то в руинах сердца,
в самой глухой глуби,
Бьется под грудою пепла
тихое слово любви.
Некогда слову сказаться,
если сжаты уста.
Страшно, когда, как воронка,
душа человека пуста.
Но человеку надо,
надо любить, чтоб жить.
И этого вечного права
его нельзя лишить.
Перекует на орала
планета свои мечи,
И солнце Вечного мира
родится над ней в ночи.
Тогда Вьетнам-планета
возьмется крепко за плуг
Со всею жаждой горячих,
своих обеих рук!

ЗДРАВСТВУЙ, ДРУГ!

Здравствуй, друг мой, Али.
Ты опять улыбаешься мне,
Словно сквозь полумрак,
Улыбаешься
С доброй хитринкой...
Полагалось бы, видно, при встрече
Спросить:
Что да как?
Но ведь — глупо:
Тебе от вопроса такого —
Ни жарко,
ни холодно.
Ну спрошу —
как ты там?
А зачем?
Видел сам:
Уложили тебя
В тесной яме...
четыре стены...
Я подумал тогда:
Хорошо еще
Влагу хранят
Поры этой земли —
Полевые цветы
Над землею взошли,
Это думы твои и мечты,
Милый друг мой, Али.
А молчанье —
конечно же, страшно.
Тишина над могилами

Алостью маков окрашена.
Ты лежишь...
Где-то в небе плывут облака.
Тишина да трава.
Да, молчание —
Как отчаянье!..

На тебя насмотреться подольше хотелось.
Это — ты вот и есть? —
Клевер, мак, резеда?
Не спрошу у тебя ни о чем.
Сам узнаю, явившись сюда.
Сам займу
Соответственно росту
Последнюю эту квартирку.
И меня
Так же вот
Крепко-накрепко люди запрут,
Чтобы мы не вернулись
уже никогда.
А ведь правда,
Что будет с землей,
Если мертвые станут к живым
возвращаться!
Не вини нас, Али,
Что глубоко
Тебя мы зарыли,
Что крепко
Тебя мы закрыли,
Не вини нас, Али,
Что ушли,

Мы ведь сделали все,
что смогли.
Вот и я —
что попишешь —
ушел, как другие,
Вечный раб живота своего,
Как-то, видимо,
нужно служить и ему —
Животу своему,
Не поделаешь, брат, ничего.
Милый друг мой, Али,
Я обидеть тебя не хотел,
Ты прости меня,
слышишь,
прости,
Но так много у каждого дел,
Что работе не виден предел.
Ноги сами несут:
В наше время
им некогда
мешкать:
Путь не близок,
А срок невелик.
Жизнь —
Одна бесконечная спешка.
От рожденья до смерти —
Одна суета.
А потом — пустота.

Кто ползком,
Кто бегом...
Хоть подошвами

Твердь эту вылижи,
Но дойди,
добеги!
Добежал, смотришь,
рухнул — на финише.
Словом, брат,
сам порою не рад.
Жизнь упряма, как мул.
И влачит терпеливо она
Неизбывный свой груз.
Кто на поезде,
Кто в самолете...
Кое-где еще
транспортом
служит осел.
Ну, а в общем-то —
Как при Хайяме,
Светит нам
Сквозь туман расстояний
Зыбкий будущего ореол.
Люди верят:
Ведь что-то должно совершиться.
Но и люди различны,
Как звери,
Как птицы.
Этот тигр,
но с душою лисицы,
Этот ворон,
а сердце младенца.
А вот этот,
как ты —
одинокое сердце...

Много разного сделано тут
Без тебя:
Снесено было много оград,
Вручено было много наград.
Много сложено вновь крепостей,
Много в мире родилось детей.
Много вырыто новых могил,
Много новых стихов
полк писак настрочил.
А Хайям
Остается Хайямом.
При этом
Он, великий Хайям,
как Хорон — нам, поэтам.

* * *

На три года, Али,
ты был старше меня.
А теперь — старше я.
На два года.
На щеках занялась седина,
Да и волосы... Время, наверно... Седею...
Ты смеешься, Али?
Смейся, милый Али!
Я сегодня
Немножечко выпил вина.
Ничего возразить не имею.
Все же, кажется мне, —
Измельчала земля,
Миллионами лет
Поизъедена наша земля.

Поистоптана,
Поизъедена,
И шагами людскими промерена.
И на прочность — войною проверена.
Мне в земную эту твердь
Захотелось постучать.
Захотелось крикнуть:
— Смерть!
Власть твоя неоспорима,
Но верни Али Керима,
Ну, хотя бы одного:
Слава ширится его,
Слава множится его,
И все больше
с каждым днем
Люди думают о нем.
Над земною этой твердью —
Голоса...
голоса...
Словно эхом переполнены леса:
— Я слепой Гомер,
не вижу
Сквозь столетия ни зги,
Как у вас там?
Люди — братья
Или все еще враги?
Или все еще
порою
Гнев людской
Сметает Троны?
— Я поэтесса Мехсети,

Стынет кровь моя при мысли:
Что если наши девушки и ныне
Сидят, как раньше,
дома,
взаперти!
— Я казненный Насими,
Мой долг оплачен пред людьми!
— Я Байрон...
— Пушкин...
— Элюар...
И вдруг негромкий детский голос:
Мне было только десять лет.
Стихов и не было, и нет.
Упал снаряд!
Я стал — землей.
Убит осколком стали злой.
О, голоса!
Они мою пронизывают память.
Как страшно мертвые кричат!
И сердце может разорваться,
Как маленький живой снаряд,
Когда его переполняет
Бессильной горечи заряд!

* * *

Вся земля в жестоких шрамах,
Вся земля в рубцах сражений.
Лучше нас
Ракеты знают
Наше местоположенье,
Под землей,

В бетонных гнездах
Схоронились
от стыда,
От стыда —
За то,
Что может
Не остаться и следа
Ни от рек,
Ни от морей,
Ни от птиц,
Ни от людей.
В землю спрятаны ракеты.
И похожа ты, планета,
На корабль
С минированным трюмом.
Мрачный юмор?
Нет, совсем не юмор!
И глупцы, и мудрецы,
Простаки и подлецы —
Все на палубе огромной.
Финансисты и дельцы
Бредят атомною кроной.
Их не выбросить за борт,
На другие не сослать планеты,
Там своих глупцов не счесть,
От своих
спасенья нету.
Как доверить им тебя, Земля?
Вот, попробуй,
в этом положении
С ними
общий отыскать язык,

Точки, так сказать, сближенья!
Я хочу, чтоб твердь земная
Круглым высилась столом,
За которым
Не солдаты,
За которым —
Дипломаты
Разговор вести могли.
Таковы дела, Али.

Может быть, не надо было
Говорить мне эти речи,
Проще — нервы поберечь бы!
Ну, да ладно...
До свиданья,
Милый друг Али,
До встречи!

СОДЕРЖАНИЕ

Стихи

Переводы Мансура Векилова

Переводы Александра Грича

Переводы Вячеслава Зайцева

Переводы Александра Халдеева

Поэмы

С(Аз)2
Г 59

Годжа Ф.

Г 59 Земное притяжение. Стихи и поэмы. Пер. с азерб. Б., Язычы. 1979.

189 с.

Фикрет Годжв — талантливый представитель плеяды молодых азербайджанских поэтов, пришедших в литературу в 60-х годах. Его перу принадлежат свыше десяти поэтических сборников, изданных в нашей стране и за рубежом. Ф. Годжа — лауреат премии Ленинского комсомола Азербайджа а.

Поэт в своих произведениях тяготеет к раскрытию внутренних переживаний героев, их духовного богатства. Трудовые подвиги, будни тружеников города и села занимают особое место в его творчестве.

В настоящий сборник наряду со стихвми включен и цикл поэм, посвященных международным событиям, проблемам мира и безопвсности на земле — «Начинается гнев гитары», «Земное притяжение», «Письмо без вдреса», «Семнадцвтая параллель».

Г $\frac{70403-43}{М-656-79}$ 97—79 С(Аз)2

„Күнләрин бир күнү". Кәнчлик, Бакы, 1972..
„Јатмадығым кечәләрдә". Кәнчлик, Бакы, 1970

Редактор *Э. Шарифов*. Художник *Г. Абдуллаев*.
Художественный редактор *А. Мамедов*.
Технический редактор *В. Севоян*.
Корректоры *Н. Шамшура, Т. Гусейн-заде*.

ИБ № 127
Сдано в набор 23/II-1979 г. Подписано к печати 10/V-1979 г. Формат бумаги $70\times90^1/_{32}$. Бумага № 1. Физ. п. л. 6,0. Условн. п. л. 7,02. Учетн.-изд. л. 7,43. Заказ № 102. Тираж 3500. Цена 1 руб. 05 коп.

Государственный комитет Азербайджанской ССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли.
Издательство „Язычы". Баку, проспект Кирова. 18.
Типография „Красный Восток".
Баку, ул. Ази Асланова, 80.

Гочајев Фикрәт Көјүш оғлу
ЈЕРИН ЧАЗИБӘСИ
(ше'рләр вә поемалар)
Јазычы — Бакы — 1979

1 руб. 5 коп



Фикрет Годжа — лауреат премии Ленинского комсомола Азербайджана — родился в 1935 году. В литературу пришел в начале 60-х годов. Перу поэта принадлежат свыше десяти сборников стихов, вышедших в республиканских и центральных издательствах. Настоящий сборник — третья книга поэта на русском языке.

ФИКРЕТ ГОДЖА